

## Что такое «простая мова»?

МИХАЭЛЬ МОЗЕР

Michael MOSER, Institut für Slawistik der Universität Wien, Liebiggasse 5, A–1010 Wien  
E-mail: michael.moser@univie.ac.at

**Abstract:** The “*próstaja mova*” is one of the written languages used by both Ukrainians and Belorussians during the 16th and 17th centuries. In this article it is argued that its name is based on a calque of German *Gemeinsprache*, *die gemeine Sprache*, a term from the Reformation age. The „*prostaja mova*” was based on the Ruthenian (Ukrainian and Belorussian) chancery language and developed into a literary language because of its growing polyfunctionality, its increasingly superregional character, and its stylistic variability. The norms of the “*prostaja mova*” were based on its common usage, not on codification. We discuss the role of Church Slavonic and Polish elements on the different levels of this language and try to show that a “prototypical” text written in the “*prostaja mova*” was a translation from a real or only virtual Polish text, consisting in the “Ruthenization” of its phonology and morphology and, if it was a written text, in a change of the alphabets – the lexicon and the syntax, instead, remained mainly on a Polish basis. Until the 18th century the Polish language itself had gained so much importance among the Ruthenian gentry that the “*prostaja mova*” had lost its main addressee and was restricted only to some homiletic and catechetical works for the common people of the Greek-Catholic Church.

**Keywords:** *Prostaja mova*, *Prosta mova*; History of the Ukrainian language; History of the Belorussian language; Languages of the Polish-Lithuanian Commonwealth; Languages of the Grand Duchy of Lithuania; Polish-Ukrainian and Polish-Belorussian Language Contacts

### 1. Вводные замечания

Один из ключевых вопросов исторической украинистики и белорусистики состоит в том, как следует оценивать т. н. «простую мову», выступавшую в XVI и XVII вв. в роли одного из письменных языков украинцев и белорусов. «Простая мова» представляет собой литературно обработанную, надрегиональную разновидность белорусского и украинского языков среднего периода, возникшую на основе общего «руського» (= украинско-белорусского) делового языка, которая, даже обнаруживая некоторые черты народного украинского и белорусского языков, испытывала настолько сильное влияние со стороны польского языка и польских текстовых образцов, что исследователи часто оспаривали саму ее «белорусскость» или «украинскость». Если же говорить о церковнославянских элементах, то они в большинстве «простомовных» текстов представляют собой лишь лексические и морфологические вкрапления, которые можно трактовать как заимствования из древнего литургического языка. Наибольшим числом церковнославянские элементы выступают в ранних переводах Библии XVI в. (напри-

мер, в «Пересопницком Евангелии»), реже всего — в «простомовных» текстах XVII в.<sup>1</sup>

Несмотря на присутствие в «простой мове» польских и церковнославянских элементов, ее статус определялся прежде всего в противопоставлении этим двум языкам. Церковнославянский язык, несмотря на то, что он создан на чужой, болгаро-македонской основе, традиционно рассматривался украинцами и белорусами в качестве «своего». Как и у других православных славян, он издавна наделялся у них высочайшим достоинством литературного и литургического языка. Тем не менее, он всё заметнее выходил из активного употребления: До возрождения церковнославянского языка в последней четверти XVI в. (хронологически совпавшего — приблизительно — с полным расцветом «простой мовы») украинцы и белорусы писали на (более или менее) чистом церковнославянском языке уже почти только при копировании традиционных литургических текстов. Вследствие дивергентного развития живого украинского и белорусского языков церковнославянский язык, особенно после его архаизации и стилизации в рамках т. н. Второго южнославянского влияния (с конца XIV в.), становился всё менее понятным даже священникам, о чем свидетельствует целый ряд высказываний современников (включая «простомовных» авторов). Это обстоятельство фактически было главным импульсом для выработки «простой мовы». С другой стороны, польский язык, начиная с Кревской Унии 1385 г., всё более распространялся как общепринятый язык шляхты Польши и Литвы, которая постоянно контактировала между собой на сеймах и в многочисленных военных походах. Кроме того, он всё увереннее охватывал мещанскую среду в больших городах Великого княжества Литовского, где селилось множество поляков<sup>2</sup>, — и этот процесс еще более интенсифицировался после Люблинской Унии 1569 г., когда поляки стали массово оседать и за пределами крупных городов (прежде всего на Украине). С того времени украинцы и белорусы издают всё больше произведений на польском языке, а в украин-

<sup>1</sup> В этом контексте заслуживает внимания замечание В. Витковского (1969, 6): «Jednakże pod koniec XVI w. na ziemiach południoworuskich (ukraińskich) [i zachodnioruskich (białoruskich)]. — М. М.] monopol literacki cerkiewszczyzny należał do niepowrotnej przeszłości. Wprawdzie cała jeszcze twórczość Iwana z Wiszni, wielce zasłużonego obrońcy konfesyjnych i społecznych swobód ludności ruskiej w Rzeczypospolitej, pisana jest językiem o bardzo niejednorodnym charakterze z wyraźną orientacją na „słowieńszczyznę”, ale już u wszystkich jego wybitniejszych następców po piórze obserwujemy dość widoczną polaryzację językową. Z. Kopysteński (†1627), P. Berynda (†1632), T. Zemka (†1632), a nawet C. Stawrowiecki (†1646) wszystkie swoje dzieła o charakterze ściśle religijnym lub naukowym wydają w cerkiewszczyznę przeważnie nie najgorszej próby, podczas gdy utwory przeznaczone dla szerszego odbiorcy tłoczą tak zw. „prostą mową ruską”».

<sup>2</sup> В этих условиях на литовском, белорусском и украинском субстрате образовывалась особая разновидность польского языка — т. н. „Polszczyzna kresowa“ (см. Мозер 2002 и приведенную там литературу).

ский и белорусский языки попадает множество польских заимствований.

Именно в оппозиции к церковнославянскому и к польскому языкам и была выработана «простая мова». Ей нужно было найти свое место в качестве нового литературного языка, который, с одной стороны, рассматривался бы как «свой» теми, кто еще не воспринимал польский язык и польское письмо, а с другой стороны, был бы понятным, в отличие от языка церковнославянского<sup>3</sup>.

## 2. Глоттоним «простая мова»

«Простая мова» до сих пор принадлежит к числу спорных тем<sup>4</sup>. Трудности возникают уже в связи с самим ее названием. В частности, в новейших украинских и белорусских публикациях<sup>5</sup> ему, как правило, предпочитают альтернативные термины «староукраїнська літературна мова» и «старобеларуская літаратурная мова»<sup>6</sup> соответственно. Здесь, однако, не обходится без осложнений, прежде всего потому, что «простая мова», по сути дела, не является ни исключительно староукраинским, ни исключительно старобелорусским достоянием; речь идет скорее об общем «староукраинском и старобелорусском литературном языке» (в связи с чем и однозначное отнесение многих памятников к украинским или белорусским оказывается невозможным)<sup>7</sup>. Кроме того, едва ли можно считать обоснованным встречающееся в некоторых публикациях определение «литературный» в отношении к языкам, которые признаком литературности явно еще не обладали. В частности, это касается делового языка украинцев и белорусов XIV–XV вв., применявшегося — почти без исключений — только в сфере делопроизводства.

<sup>3</sup> Употребление русинами других языков, как напр. греческого и латинского, здесь не будет учитываться.

<sup>4</sup> Ср., напр., Гардзанин 1999, 169: «К сожалению, мнения ученых расходятся в вопросе об этом языке, обычно именуемом „проста мова“, но встречающемся под иными многочисленными названиями [...] отсутствует какое-либо системное описание самого языка и его релевантных характеристик прежде всего в сопоставлении с польским и с церковнославянским того периода».

<sup>5</sup> Ср. Беларуская мова 1994; Українська мова 2000, где нет леммы «проста(я) мова».

<sup>6</sup> Ср. уже Огиенко (1930, 235–236): «В останній час, коли „руська“ мова стала ближче відомою, потроху запановує для неї назва мови української чи білоруської в залежності від мови пам'ятки. Треба тільки пам'ятати, що для вирішення питання про приналежність пам'ятки тому чи іншому народові рішає не випадкове місце видрукування чи написання її, але в першу чергу — народність самого автора».

<sup>7</sup> По той же причине не прав Журавский (1967, 239–240), когда он утверждает: «Тэрмін жа „беларуская мова“, уведзены ў навуковы ўжытак яшчэ ў пачатку XIX ст., найбольш удала адлюстроўвае структурную і матэрыяльную характарыстыку гэтай мовы».

Далее, как известно, носители «простой мовы», называя свой язык по его этнической принадлежности, употребляли лишь глоттоним «руський язык» или «руськая мова» на основании того, что они именовали себя «русинами»<sup>8</sup> и рассматривали себя как один «руський народ». «Рутький язык», в свою очередь, казался им — а в определенной степени и был фактически<sup>9</sup> — их общим языком<sup>10</sup>. Между тем, понятия «украинский» и «белорусский» в XVI и XVII вв. еще не утвердились как названия соответствующих земель или же имели совсем другие значения<sup>11</sup>. Тем не менее, с современной перспективы названия «староукраинский» и «старобелорусский» язык по отношению к «простой мове» абсолютно приемлемы, так как она представляет собой этап в развитии именно украинского и белорусского литературных языков.

Термин «простая мова» вкратце обозначает то же самое, что и несколько громоздкое выражение «руський» или, другими словами, «украинский и белорусский литературный язык среднего периода». Сам по себе, однако, он не сообщает ничего конкретного, если заранее неизвестно, о чем идет речь. Более того, в современном употреблении выражение «простая мова» или «простой язык», имеет в первую очередь значение языка «необработанного» или «сниженного», что не соответствует сути «простой мовы», обладавшей, в принципе, всеми качествами языка литературного. Наконец, выражение «простая мова» нуждается в пояснениях и потому, что не только в Белоруссии и Украине, но и в других славянских странах языки письменности на определенных исторических этапах также назывались «простыми» (Живов 1996, Мозер 2000). У всех этих народов выражение «простой язык» обо-

<sup>8</sup> Этноним и глоттоним, кстати, лучше всего переводятся на другие языки, как укр. *русини, руський*, блр. *русiны, рускi*, пол. *Rusini, ruski*, нем. *Ruthenen, ruthenisch*, фрц. *Ruthènes, ruthène*, англ. *Ruthenians, Ruthenian*. Теперь это название принято прежде всего среди американских славистов.

<sup>9</sup> С другой стороны, великорусов они называли, без всяких пейоративных оттенков, *москалями*, а также *новгородцами, тверцами* и т. д., пока эти другие княжества не были присоединены к Великому Княжеству Московскому. То же самое наблюдается, впрочем, и в практике западной дипломатики (до XVIII в.): Украинские и белорусские территории назывались там, как правило, *Ruthenia*, великорусские же *Moscovia*. С другой стороны, следует иметь в виду, что этнонимы *украинец* и *белорус* до XIX в. как таковые еще не были приняты.

<sup>10</sup> Называть этот язык «русским» и таким образом смешивать его с великорусским языком, однако, нельзя, хотя можно натолкнуться на такой узус иногда даже в литературе наших дней. Поэтому рекомендуется писать этот глоттоним или как «руський» на основе украинского или как «русский» на основе белорусского языка (бр. *рускi*), но не как «русский».

<sup>11</sup> Ср. Соболенко (1988, 260) о названии *беларусы*: «У 14–16 ст. такая назва насельництва, якое пражывала на сучаснай тэрыторыі Беларусі, не ўжывалася. У той час Б. называлі *ліцвінамі* або па назве мясцовых княстваў (берасцейцы, палачане і інш.)», ср. также Грицкевич 1988. *Украиной*, с другой стороны, еще в XIX в. назывались только киевское и брацлавское воеводства (Витковский 1969, 8) и территории, находящиеся на востоке от них, между тем как ни Галич ни Волынь ни Подолье не были «Украиной».

значало в основном ‘язык, освободившийся от церковнославянских традиций’.

Откуда же происходит выражение «простая мова»? Слово *прость*, согласно словарю И. И. Срезневского (1893–1903, см. *простьш*), уже в древних восточнославянских памятниках встречается в значении ‘светский’, которое в свою очередь восходит к более древнему значению ‘неграмотный’, а также ‘из низшего социального слоя’. Эти последние значения, впрочем, выступают также в ст.-сл. слове *прогъ*, переводном эквиваленте греч. *ἰδιώτης* (Цейтлин и др. 1994, см. *прость*). Сюда же относятся лит. *prāstas* ‘необразованный, из низшего социального слоя; плохой’, а также венгерское заимствование из славянского *paraszt* ‘крестьянин’ (Шевелев 1988–1989, 603–604). В то же время, по отношению к языку определение *прость* также обозначало ‘простой, несложный, невитиеватый стиль’ (Успенский 1987, 251). Поскольку в болгарских «Дамаскинах» выражения *простымь/простимь сказаніемь* или *простымь/простимь языкомь* могли переводить греч. *κοινῆ γλώσσῃ* (Петканова-Тотева 1965, 17; 57; Иванова 1967, 11), можно было бы предположить, что это и был источник наименования «простой мовы». Оказывается, однако, что перевод *простымь/простимь сказаніемь* или *простымь/простимь языкомь* появляется у болгар не сразу. В более ранних «Дамаскинах» его нет; там преобладает более точный перевод «общіимь сказаніемь», «общыимь языкомь»<sup>12</sup>, аналог которого, кстати, встречается также у украинцев и белорусов: например, у Памвы Берынды в предисловии к Постной Триоди 1627 г. (Титов 1924, 178; Успенский 1987, 269), где автор пишет, что книга была переведена с греческого на «россійскую бесѣду общую». Поэтому нам кажется маловероятным, что выражение «простая мова» переводит греч. *κοινῆ γλώσσῃ*. Едва ли можно считать его и переводом лат. *lingua rustica*, к чему склоняется Успенский (1987, 261), *lingua vernacula* либо *lingua volgare*, поскольку прилагательное *простой* [*простый?*] по своему значению весьма далеко отстоит от всех этих определений («сельский», «местный» и «народный» соответственно).

Нам кажется более вероятным, что следы стоит поискать в ином месте. В этом отношении представляет интерес немецкое выражение „die gemeine (deutsche) Sprache“. Приведем вкратце наши аргументы. Первое употребление названия „die gemeine (deutsche) Sprache“ в немецкоязычных странах отмечено еще 1384 г., когда венский писец Леопольд Штайнройтер противопоставил выработанный им искусственный вариант немецкого письменного языка, ориентированный на латинский синтаксис, тому стилю, который был принят „in gemeinen

<sup>12</sup> Ср. Делл’Агата 1984, 158: «[*простымь/простимь сказаніемь* или *простымь/простимь языкомь*] are not generic variants, but have a definite model in the Greek text: *λόγος πεζῆ φράσει*.

teutsche“, т. е. в «простом немецком языке» (Эггерс 1969, 153). Наиболее же широко выражение „die gemeine (deutsche) Sprache“ использовалось во время Реформации. При этом следует иметь в виду, что немецкое прилагательное «gemein» означало (а отчасти и до сих пор означает) не только ‘общий’, но также и ‘простой’, в частности, по отношению к человеку в обороте „der gemeine Mann“ ‘простой человек’. Таким образом, основные значения слова *gemein*, за исключением ‘общий’, совпадают со значениями слова *простой*.

Это находит свое отражение также в значении немецкого понятия „Gemeinsprache“, ср. следующие замечания:

Eine bereits im Spätmittelalter mit diesem Namen belegte (zuerst 1384) Sprachform ist das gemeine Deutsch. Der Ausdruck ist doppeldeutig: Einmal bezeichnet er eine stilistisch schmucklose Sprachform im Gegensatz zu einer rhetorisch überhöhten, andererseits auch eine Ausgleichssprache, die sich im (ost-)oberdeutschen Raum vor allem durch den Einfluß der kaiserlichen Kanzlei herausgebildet hat (Атлас 1985, 95).

Das Reformationszeitalter, das die Sache des Glaubens zur Angelegenheit aller macht, dessen humanistische Schätze ihres Wissens und ihrer Einsichten jedermann zugänglich machen möchten: diese Zeit braucht ein »gemeines Deutsch«, eine Sprache, die nicht nur zu dem Gelehrten spricht (Эггерс 1969, 155).

Genau diesen Fachausdruck gebraucht aber auch Luther: »Ich habe keine gewisse, sonderliche, eigene Sprache im Deutschen, d. h. ‘Wenn ich deutsch schreibe, so bediene ich mich nicht einer eigenen und besonderen Kunstprosa’, »sondern brauche der gemeinen deutschen Sprache«, ‘benutze die allgemein verbreitete, schlichte und ungekünstelte Sprache des Volkes’. Gehen wir dem Lutherwort auf den Grund, so ist damit also gesagt: ‘Ich schreibe keinen gedrechselten Stil, sondern eine schlichte Sprache, die jedermann versteht [...]’ (Эггерс 1969, 154).

[...] man mus die mutter jm hause, die kinder auff der gassen, den gemeinen man auff dem marckt drumb fragen und den selbigen auff das maul sehen, wie sie reden, und darnach dolmetzchen, so verstehen sie es den vnd mercken, das man Deutsch mit jn redet (Мартин Лютер; цит. по ЭГГЕРС 1969, 166).

Упомянем также, что и в Польше среди протестантских книг местной печати был катехизис Яна Секлюцияна 1545 г. под заглавием „Katechizmu tekst prosty dla prostego ludu“ (Целунова 1997–1998, 89), а в предисловии к «Постилле» Миколая Рея можно прочесть: „oto masz przed oczyma od prostaka prostymi słowy napisane święte słowa Jego“ (Клеменевич 1985, 226). Подобное определение содержится и в названии первой литовской книги, катехизиса лютеранина Мартина Мажвидаса, (в своей основе это был перевод катехизиса Секлюцияна): „Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas“ (Кёнигсберг 1547). Всё это служит нам дополнительным аргументом в пользу нашего тезиса. По-видимому, «prostak»/«простак» = «der gemeine Mann», а «język prosty»/«простая мова» и т. п. = «die gemeine Sprache». «Простой», „prosty“ или „der gemeine“ текст обо-

значал так или иначе ориентацию на узус людей «простых» («светских» или «неграмотных») — тех, которые не знали традиционных письменных языков, т. е. латыни или же церковнославянского языка, считавшихся, в свою очередь, «сакральными» языками «образованных» людей.

Белорусы и украинцы, начиная с 1517 г., по-видимому, первыми среди православных славян назвали свой язык, воспринимаемый как новый литературный, «простым», а другие пошли по их стопам: сначала русские — в конце XVII — начале XVIII в. — под влиянием украинцев и белорусов (ср. Мозер 2000 и приведенную там литературу), затем сербы и болгары (ср. Делл'Агата 1984, 158–159) — под влиянием русских, а также украинцев и белорусов. Однако, в отличие от украинцев и белорусов, выработка т. н. «простых языков» для всех прочих на деле означала первые шаги на пути от церковнославянского к новым литературным языкам на народной основе<sup>13</sup>. Судьба же украинской и белорусской «простой мовы» существенно отличается от других славянских «простых языков» тем, что она ни в хронологическом ни в структурном отношении не образует настоящего связующего звена между церковнославянскими традициями и новыми литературными языками: первые произведения на новом украинском и белорусском языках, начиная с украинской «Энеиды» Ивана Котляревского 1798 г. и анонимной белорусской «Энеиды» 1812–1830 г., резко порывают с традициями «простой мовы».

С другой стороны, название «простая мова», по-видимому, только в применении к украинскому и белорусскому языкам уже издавна служит термином, обозначающим литературный язык нескольких десятилетий, составивших отдельный период в их истории. Таким образом, если иметь в виду, что под ним кроется «украинский и белорусский литературный язык среднего периода», то относительно краткое выражение «простая мова» представляется вполне приемлемым, тем более, что другое название, употреблявшееся самими «простомовными» авторами, т. е. «руська мова» или «руський язык», охватывает значительно больше разновидностей украинского и белорусского языков среднего периода<sup>14</sup>, в т. ч. долитературных и нелитературных.

<sup>13</sup> Отклонения от церковнославянского языка, кстати говоря, допускались в произведениях, написанных на «простых языках», в весьма разной степени.

<sup>14</sup> Попытка Мякишева (2000) разграничить «руськую» и «простую мову» как два самостоятельных языка не представляется нам удачной. Действительно, о «руском языцѣ»/«руської мове» можно говорить задолго до возникновения простомовной письменности. На том же «руском» языке написаны, например, интермедии, которые, однако, простомовными назвать нельзя. С другой стороны, сами простомовные авторы часто называли «простую мову» «простой руськой мовой», «простым руським языком» или только «руським языком». Следовательно, «простая мова» представляет собой

### 3. Руський деловой язык как источник «простой мовы»

После распада Киевской Руси и опустошения Киева Золотой ордой (1240 г.), территориями Украины и Белоруссии завладело Великое княжество Литовское. Единственным исключением было галицкое княжество, отошедшее к Королевству Польскому. Традиции восточнославянской деловой письменности в этой новой политической ситуации не прерывались. Напротив, поскольку литовский язык тогда еще не вошел в письменное употребление, в качестве делового языка Великого княжества Литовского был принят «руський язык», который и выполнял эту функцию вплоть до 1696 г., когда варшавский сейм окончательно постановил заменить его польским и латинским языками<sup>15</sup>. Таким образом, после заключения персональной унии Великого княжества Литовского и Королевства Польского в 1385 г. польские короли обычно издавали грамоты и кодексы, предназначенные для литовских земель, на «руськом» языке. Только в «Червоной Руси» официальным языком стала латынь, после того как Королевство польское, на основании решений Едлинского сейма 1433 г., окончательно подчинило бывшее галицкое княжество польскому праву.

«Руський» деловой язык представлял собой переделку древнего делового языка восточных славян в опоре на белорусский и украинский народные языки и согласно моделям западной дипломатики. С течением времени он также воспринимал всё больше элементов польского языка. С самого начала «руський» деловой язык отличался определенной степенью надрегionalности и не совпадал ни с «белорусским» ни с «украинским» языками, а также ни с одним из их диалектов, как это показал уже Станг (1935, 1939). Хотя сначала в руських грамотах в целом преобладали белорусские элементы, даже среди полоцких грамот есть немало написанных на южной, украинской языковой основе. Смешение признаков разных диалектов, наблюдаемое в большинстве грамот, было вызвано разными причинами: тот или иной текст мог быть списком инодиалектного оригинала, или же писец, происходивший из другой местности, мог смешивать свой родной диалект с местным, а порой и сознательно ориентироваться на образец других, более престижных разновидностей «руського» делового языка (Шевелев 1979, 401). Этот язык Шевелев (1979, 397) характеризует следующим образом:

---

лишь особую разновидность «руської мовы»/«руського языка». Ср. также Дискуссию 2001.

<sup>15</sup> Ср. оговорку А. Журавского (1967, 36): «Праўда, на першых парах моцным канкурэнтам у ролі дзяржаўнай мовы выступала латынь, якой часам карысталіся літоўскія князі ў дыпламатычнай перапісцы, асабліва ў зносінах з палякамі. Латынская мова ў той час была афіцыйнай у Галіцыі і на Падляссі. Яе папулярнасці садзейнічала і тое, што яна была звычайнай у афіцыйным набажэнстве літоўцаў каталіцкага веравання. Тым не менш у гэтым саперніцтве пераможнай выйшла беларуская мова».



The Ruthenian language, like every chancery language, permeated with clichés in phraseology, vocabulary and even certain spellings, was presumably not the creation of a single person or even a single chancery, but a result of work of several generations of scribes who partly imitated their predecessors and partly innovated. The language of each of them was rooted in his native dialect, but in their collective work they arrived at a combination of these with what they had found in the preceding chancery practice. It was a language at the same time rigid in some of its practices and open to many variations in others. In particular, it vacillated between U[krainian] and B[elo]r[ussian] features. In some texts the former are clearly preponderant, in others, the latter; occasionally, though less often, they are mixed. In general, however, at least in their phonology, texts are not the fruit of a deliberate compromise between the two.

Показательно, что русский деловой язык сначала обнаруживал больше северных элементов, т. е. белорусских черт, но с течением времени в нем, как и в «простой мове», начинали преобладать южные, т. е. украинские черты. Это объясняется прежде всего развитием городских центров: Сначала главными культурными центрами русинов были Вильнюс, Полоцк и находившийся тогда на территории Великого княжества Литовского Смоленск. Но в XVI и тем более в XVII в. значение Львова, Острога, Луцка и спустя некоторое время Киева возросло до такой степени, что эпицентр развития «русского языка» и творимой на нем письменности постепенно продвигался на юг, ср. Шевелев (1979, 566–567):

Vilna lost its leading part as a political center. It remained one of the cultural centers but just one among several. Ostrih, Luc'k, Lvov and the regenerating Kiev were no less important, and they all were in the Ukraine. True, the exchange of people and books between the Ukraine and Belorussia continued (e. g. the Ukrainians Lavrentij and Stefan Zizanijs and Meletij Smotryc'kyj lived and worked for years in Vilna), but subordination was no longer there. Consequently, Ruthenian, as used in the Ukraine, gradually severed its dependence on B[elo]-r[ussian] and absorbed more and more purely U[krainian] features. As used in [religious texts] [...] it became basically what the contemporaries called *próstaja mova* [...] B[elo]r[ussian] components became reduced in it to a negligible portion.

Впрочем, русский деловой язык Великого княжества Литовского по сути дела еще не являлся литературным языком, хотя нельзя отрицать, что он, как письменный язык, обнаруживал признаки «определенной сознательной обработки» (Журавский 1967, 59). Прежде всего, этот язык вплоть до конца XV в. обслуживал почти без исключений только деловую письменность. Кроме того, хотя в нем наблюдаются некоторые моменты выравнивания диалектных черт, он еще не был настолько нормирован, как это наступило где-то с середины XVI в. Только с этого времени белорусские летописи пишутся приблизительно на таком же языке, как и Литовские Статуты, ср., например, Хронику Быховца сер. XVI в. и Баркулабовскую Летопись нач. XVII в. (ПСРЛ 1975; Мороз 1994)<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> Более ранние летописи, например «Летопись Аврамки», по-прежнему писались

Даже когда в XV в. появляются первые неделовые памятники, написанные не на церковнославянском, а на русьском языке (на старобелорусской основе), а вернее — переведенные с польского: «Житие Алексея», «Страсти Христовы» и «Повесть о трех королях», этот язык еще нельзя рассматривать как литературный. Он не выявляет особых тенденций, направленных на нормирование, которое не укладывалось бы в рамки делового языка<sup>17</sup>. Кроме того, эти апокрифы принадлежали, по-видимому, западнорусским католикам (Свяжинский 1994), которые до середины XVI в. не могли играть значительной роли в общественной жизни русинов. К тому же речь идет всего лишь о единичных памятниках, представленных в одном-двух списках, а по сути эти тексты еще не могли способствовать выработке нового, полифункционального языка. По тем же самым причинам не могли оказывать существенного влияния и переводы с еврейского на старобелорусский язык, выполненные в среде жидовствующих<sup>18</sup>, а также переводы старозаветных книг на старобелорусский язык, появляющиеся с начала XVI в. (Альтбауер 1992)<sup>19</sup>, старобелорусские глоссы в еврейском письме (Векслер 1977, 39–42), написанные белорусскими евреями в конце XV в. (Альтбауер 1992, 23; Шевелев 1979, 403), или же старобелорусские тексты татар в записи арабским письмом, т. н. «китабы», также датированные началом XVI в. (Векслер 1977, 39–42; Нестерович 1994). Все эти памятники оставались в среде общения конфессиональных или этнических меньшинств, которые пользовались белорусским языком, поскольку забыли родной язык и собственный литургический язык. Даже «Троянская история», которая в середине XVI в. была переведена

скорее в соответствии с давними нормами (Журавский 1967, 59–60; 71). Лишь фрагмент белорусской «Александрии» XV в. стоит несколько ближе к живому языку (там же, 73–75).

<sup>17</sup> В этом можно убедиться при сравнении фрагментов этих трех текстов, опубликованных, напр., в Хрестоматии (1961, 77–98).

<sup>18</sup> См. Журавский (1967, 90–91) о «Логике» жидовствующих (1-я пол. XVI в.): «Моўная аснова тут кніжнаславянская, хоць фанетычныя, граматычныя і лексічныя беларусізмы тут таксама адчувальныя [...]. Характэрна пры гэтым, што сам перакладчык лічыў мову свайго перакладу іменна кніжнаславянскай, а не мясцовай, беларускай».

<sup>19</sup> Сегодня известен всего один сборник XVI в., хранящийся в Вильнюсе (RKF-262), который содержит переводы на церковнославянский язык (с многочисленными белорусскими элементами) наряду с переводами на старобелорусский язык, а также перевод «Песни песен», хранящийся в Москве (Сб. Синод. Нр. 558) (Журавский 1967, 158). Об их языке ср. там же: «Кананічныя біблейскія кнігі гэтых зборнікаў не аднолькавыя па мове і паходжанню». Сборник RKF-262 содержит переводы с еврейского начала XVI в., перевод «Песней песен» рассматривается или как украинский, или как белорусский, одни относят его к рубежу XVI/XVII вв., другие к середине XV или по крайней мере к началу XVI в. (Журавский 1967, 158–159). Однако везде, даже в тех текстах, которые рассматриваются как старобелорусские или староукраинские, еще заметна довольно сильная церковнославянская стихия. «Песня песен», кстати, по всей вероятности, представляет собой, как показал в свое время Флоровский (1940–1946), перевод с чешского оригинала (Журавский 1967, 159).

в Белоруссии с польского или чешского оригинала, вряд ли может считаться памятником именно «простомовной» письменности, так как ее язык еще не обнаруживает тенденций к новому нормированию, наблюдаемых в «простомовных» текстах<sup>20</sup>. Кроме того, насколько известно, употребление «руського» языка в названных памятниках никогда не связывалось с какой бы то ни было литературной программой.

Применение «руського» языка в деловых документах, благодаря его традиционности, долгое время разумелось как бы само собою и было эксплицитно регламентировано законом только в Литовском Статуте в редакциях 1566 и 1588 гг.: «А писар земьский маеть по роускоу, литерами и словы роускими вси листы, выписы и позвы писати, а не иншимъ езыком и словы». По-видимому, такое эксплицитное постановление в законе уже свидетельствует об упадке древнего делового языка (Струминский 1984, 22). Уже в 1530 г. и в 1532 г. Статут в редакции 1529 г. был переведен со старобелорусского на латинский и на польский языки — тогда это было еще сделано для того, чтобы могли читать его и поляки. Но когда Статут 1588 г. был издан в польском переводе в 1614 г. и еще несколько раз в 1619, 1648, 1694, 1744, 1786 г. и позже (Журавский 1967, 252), это уже означало, что эти переводы фактически заменяли собою русские версии.

Если же брать употребление «руського» языка в апокрифах и в «Троянской истории», то оно, по-видимому, не в последнюю очередь объясняется тем, что «русские» версии были переведены с польского, а церковнославянских версий, на которые можно было бы ориентироваться, просто не существовало. Отсюда же — множество польских элементов, воспринимавшихся, по-видимому, как «русские». Предположительно, перевод на церковнославянский язык представлялся в этом случае ненужным — ведь и сами оригинальные тексты имели неправославное происхождение. Кроме того, возникает вопрос относительно самой возможности выполнения такого сложного перевода.

Наконец, употребление «руського языка» евреями и татарами свидетельствует прежде всего об их языковой ассимиляции в окружающей среде, а также о забвении их родных и традиционных письменных языков.

До XVI в. расширение коммуникативных функций «руського» языка еще никем не выдвигалось в качестве осознанно сформулированной задачи.

<sup>20</sup> Например, она обнаруживает множество таких в общем нетипичных для простой мовы фонетических полонизмов, как *медици* (< *tiedzy*, нов. пол. *tiedzy*), *длугиш*, *слунце*, *тварде*, *муси*, *проси*, *умарль*, *ведль*, *збодль*, а прежде всего причастий типа *пристовуюций*, *приходуюций*, деепричастий типа *бачоць*, *бьюць*, *валчуць* или флексий типа *велику болестью*, *велику моцью*, *горку смертью*, *с собу* (Журавский 1967, 75–78), которые в простомовных текстах не допускаются.

#### 4. «Простая мова» и ее полифункциональность

История «простой мовы», т. е. история нового украинского и белорусского литературного языка среднего периода, началась только вместе с проникновением европейской Реформации на земли Польши и Литвы. Идеологическая основа этого развития была заложена за рубежом<sup>21</sup>, когда Франциск Скорина, уроженец Полоцка, бывший студент краковского и падуанского университетов, работавший потом секретарем датского короля, в 1517–1519 гг. издал в Праге свою «Библию Руску», «Богу ко чти и людемъ посполитымъ к доброму научению» (Скорина 1988, 7), исходя из следующих предпосылок:

Понеже нетолико Докторове люди вченые внихъ разумеють. Но всякий человек' простой и посполитый чтучи их или слушаючи можетъ поразумети что есть потребно к'душному спасению его [...] И тако младенцемъ и людемъ простымъ есть наука, Учителемъ же илюдемъ мудрымъ подивление (Скорина 1988, 8–9).

На таком общепонятном «русьском» языке, как в приведенном фрагменте, Скорина составлял, однако, только предисловия; сами же библейские тексты в основном сохраняли верность церковнославянским традициям, хотя в них иногда встречаются глоссы, переводящие наиболее темные церковнославянские слова (Журавский 1988). Таким образом, лишь *намерение* Скорины распространить Священное Писание среди «простого народа» выдает его восприимчивость к программам европейской Реформации.

Однако полстолетия спустя<sup>22</sup>, сразу же после того, как и в Польше окончательно расцвела церковная и светская письменность на польском языке, выходят первые тексты, сознательно написанные на разных вариантах «простой мовы». Это были переводы религиозных книг, которые, независимо от того, были ли переводчики протестантами, так или иначе соотносились с программой европейской Реформации и опирались на польские оригиналы. Впрочем, если выражение «простая мова» вообще употреблялось, то лишь в связи с религиозными текстами, и только по их поводу формулировались определенные языковые программы. Речь идет, в частности, о таких памятниках, как Пересоп-

<sup>21</sup> В 1520 г. Франциск Скорина вернулся в Полоцк, где также устроил печатню и выпустил еще несколько старозаветных книг, получивших широкое распространение в польско-литовском государстве.

<sup>22</sup> В том, что вторая половина XVI в. знаменовала веку в нормировании языков, согласны специалисты по истории украинского и белорусского литературного языков, ср.: «Гэта адбылося ў другой палавіне XVI ст., калі моўная сітуацыя на Беларусі вызначылася больш акрэслена і трывала. У гэты час беларуская пісьмовая мова аформілася як цэласная самастойная сістэма з шырокімі грамадскімі і культурнымі функцыямі. З другога боку, пэўнай моўнай стабілізацыі дасягнула і княжнаславянская мова, якая да гэтага часу працягвала захоўвацца ў разнастайных узорах кананічных тэкстаў» (Журавский 1967, 95). Также и в Курсе (1958, 68–138) новый период начинается с половины XVI в.

ницкое Евангелие, переведенное под руководством архимандрита Пересопницкого монастыря Григория, писцом Михаилом Василиевичем из Сянока и еще одним неизвестным по имени писцом в 1556–1561 гг. (Дубровина и Гнатенко 2001, 84–85) в опоре на польский Новый Завет в версии лютеранина Станислава Мужинковского (Кенигсберг 1551–1552), Житомирское Евангелие 1571, являющееся переделкой Пересопницкого (Назаревский 1911, 13), Евангелие арианина Валентия Негалевского 1582 г. (называемое также по месту происхождения «Хорошевским»), источником которого послужил Новый Завет кальвиниста Мартина Чеховица (Краков 1577) (Болек 1983, 28)<sup>23</sup>, Креховский Апостол, созданный после 1563 г. как перевод кальвинистской Радзивилловской Библии и католической Библии 1556 г. (Возняк 1920, 17; Огиенко 1930)<sup>24</sup>, два перевода Псалтыри второй половины XVI в., основанные на польской Псалтыри Врубеля и на Библии Радзивиллов (Карский 1896; Мартель 1938, 99–100; Журавский 1967, 167–177). Однако все эти переводы Священного Писания остались в рукописях, а число их списков ничтожно<sup>25</sup>. Только Евангелие Василия Тяпинского (ок. 1570 г., Толстой 1988, 59), «простомовная» часть которого является переводом польского Нового Завета Симона Будного (Болек 1983, 28), вышло из печати. Но и оно было издано параллельно на «простой мове» (на белорусской основе) и на церковнославянском языке, так что «простомовный» столбец можно было рассматривать лишь как инструмент для лучшего понимания авторитетного церковнославянского текста.

Итак, широко распространенных полноправных переводов Библии на «простую мову» у украинцев и белорусов не было. Сколь бы ни были важны названные произведения для истории языка, их роль как образца при выработке нового языка оставалась ограниченной. И всё же сам факт перевода Священного Писания означал, что путь уже проложен. Украинская и белорусская «простая мова» удивительно быстро стала полифункциональным литературным языком.

Особенно широко распространенными и влиятельными были тексты из области прикладной теологии, в первую очередь т. н. «Учитель-

<sup>23</sup> Летковское Евангелие 1595–1600 г. в основном написано по-церковнославянски, хотя в нем содержится также отрывок на новом языке, который, однако, восходит к Пересопницкому Евангелию (Шевелев 1979, 572).

<sup>24</sup> Ср. отрывки польского оригинала и простомовного перевода у И. Огиенко (1930, 159–160; а также 1930, 2, 150–152), напр. фрагмент из Письма к Галатам (с. 152): «ознаимую *ж* вам *братя* *иж* евангелия проповеданая *от* мене не *єст* подлуг чїка, бо не *от* чїка *єсми* *єи* *взял* *ани* *єсми* *был* *научен* *але* *через* *обявене* *їса* *христа*» / «A oznaimiue wam bracia, iz Ewanielia przepowiedana odemnie, nie iest wedle czlowieka. Abowiem anim iey wziął od czlowieka, anim był nauczon, ale przez objawienie Jezusa Krystusa». Источником Креховского Апостола также служил какой-то церковнославянский текст Апостола (Огиенко 1930, 169–171).

<sup>25</sup> Полный обзор переводов Священного Писания на «простую мову» предлагается в работе І. Чепиги (2001, 13–16), к сожалению, без указания источников.

ные Евангелия», среди которых много не только рукописных, но и печатных памятников. Первое «Учительное Евангелие» было напечатано в Заблудове под Белостоком еще в 1569 г. (правда, на церковнославянском языке). Но после него в 1616 г. появилось в печати первое «простомовное» «Учительное Евангелие» Мелетия Смотрицкого, составленное на основе польской Библии 1572 г. и польского Нового Завета 1574 г. антитринитариста Симона Будного (Фрик 1988). С незначительными изменениями оно было перепечатано в 1637 г. (это издание известно как «Учительное Евангелие» Петра Могилы)<sup>26</sup>. Отметим, что «простомовные» Учительные Евангелия часто содержали и переводы Священного Писания на простую мову, ср., напр., отрывки Учительного Евангелия XVI в. (рукоп.), 1604 г. (рукоп.), 1637 г. (напечатано при Петре Могиле в Киеве) и 1670 г. (рукоп.) в работе П. Житецкого (1905, 47–57). Однако читались «Учительные Евангелия», как правило, только вне литургии, в проповеди.

Проповеди вообще были излюбленным жанром «простомовных» авторов. Особенно знамениты такие сборники церковных проповедей, как «Евангелие учительное албо казаня на недѣля презь рокъ» Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого (1619 г.) и весьма популярные книги Иоанникия Галятовского, «Ключь разумѣния» (1659 г.) и «Небо новое» (1665 г.).

Кроме проповедей, среди «простомовных» текстов из области прикладной теологии особого внимания заслуживают также катехизисы. Первым из них появляется печатный Несвижский «Катихисис» 1562 г., перевод польского катехизиса кальвиниста Симона Будного, написанный на белорусской основе<sup>27</sup>. Кроме него, можно назвать иезуитский катехизис, вышедший в свет в 1585 г. в Вильнюсе (Назаревский 1911, 12; Фаловский 2001). Первый православный катехизис на «простой мове» был напечатан Виленским Братством в 1600 г. и затем переиздан в 1611 г. в Евье (Голубев 1890, 1–81). Самый важный православный катехизис того времени был напечатан в Киеве под эгидой Петра Могилы в 1645 г. Он был опять-таки составлен сначала по-польски и лишь потом появился в «простомовном» переводе (Мартель 1938, 109–110)<sup>28</sup>. На «простой мове» были также написаны синаксари в киевской Постной Триоди 1627 г. (ср. Титов 1924, 180–182). По словам Памвы Берынды, они были переведены с греческого на «россійскую бесѣду

<sup>26</sup> Большинство других «Учительных Евангелий», в первую очередь рукописных, опиралось на «Постиллы» кальвиниста Миколая Рея и католика Якуба Вуека (Фрик 1988, 107).

<sup>27</sup> Церковнославянские элементы Несвижского катехизиса выступают в большинстве случаев как цитаты из Священного Писания, которые в печати не выделяются из оригинального текста (Журавский 1967, 188).

<sup>28</sup> Этот катехизис был переиздан в 1646 г. во Львове и в 1649 г. в Москве (Мартель 1938, 109–110). О церковнославянских катехизисах см. там же (109–111).

общую». Функцию образцового текста выполняли также «Roczne dzieje koscienne» Петра Скарги (Мартель 1938, 99–100).

Иногда на «простую мову» переводились даже молитвы. В киевском «Кратком катехизисе», изданном в 1645 г. под руководством Петра Могилы (это был перевод польского оригинала, напечатанного в том же году), встречается, например, «Отче наш» в такой форме: «Отче нашъ, который естесь на Нбсехъ. Нехайся святить Имя твое. Нехай будетъ воля твоя, яко на Нбѣ такъ и на земли. Хлѣбъ нашъ надсущественный дай намъ нынѣ. Отпусти намъ наши вины, яко и мы отпускаемъ, нашимъ виноватцомъ. И не води насъ въ искушеніе. Але збавъ насъ отъ злого. Абовѣмъ твое ест Кролество, и моц, и хвала, на вѣки, Аминь» (Голубев 1898, прил., 432–440). Такой же перевод фигурирует уже и в «Книге о вѣрѣ», изданной в 1620–1621 гг. в Киеве (Титов 1924, 34; см. также Успенский 1987, 270–271).

На «простой мове» выходила и агиографическая литература. Особый интерес представляет история переводов «Киево-Печерского Патерика» (Перетц 1958; Исаевич 1996, 128), которые были сделаны не со старославянской версии, а с польского перевода этого произведения, изданного Сильвестром Коссовым в 1635 г. в Киеве под титулом «Paterikon abo żywoty ss. oucow Pieczarskich». Польский Патерик переводился несколько раз, иногда только в отрывках, а иногда полностью (Перетц 1958, 188–190)<sup>29</sup>. Все переводы, однако, остались в рукописи.

Кроме того, на «простую мову» было также переведено несколько произведений Отцов церкви, начиная с «Казанья сѣго Кирилла Патріархи ерусалимского», изданного Стефаном Зизанием в Вильнюсе параллельно на польском языке и на простой мове (Мартель 1938, 119).

Далее, на «простой мове» писались все полемические произведения по поводу церковной Унии, которые не сочинялись на польском языке, причем следует помнить, что первое православное полемическое произведение было издано на польском языке уже в 1597 г., а после 1628 г. уже вся полемика велась исключительно по-польски (Шевелев 1979, 566). Даже Иван Вишенский, рьяный противник западного влияния, широко пользовался произведениями Рея, Чеховица, Вуека и Скарги. Но всё же на этом фоне «простомовная» полемическая литература выделяется своим особенным богатством, в частности и в языковом отношении. Об этом свидетельствует, например, «Палинодия» Захария Копыстенского (1620–1621) — вершина этого жанра.

Начиная со стихов Герасима Смотрицкого, помещенных в преди-

<sup>29</sup> О языке этих переводов см. Перетц (1958, 204): «Все белорусско-украинские списки представляют собою в основе близкую передачу польского текста, но каждый со своими заметными особенностями». Некоторые списки особенно близки к польскому оригиналу, «вплоть до повторения фонетических полонизмов (*ксенженця, преврочовали, зебрал* и т. п.)», некоторые обнаруживают также многочисленные белорусские и украинские диалектные черты.

словии к Острожской Библии 1581 г., на «простой мове» пишутся произведения силлабической поэзии, т. н. «вирши», а также первые диалоги, зародыши школьной драмы (ср. примеры в Хрестоматии 1952, 167–170; 170–174; 184–195). Правда, на позднейших этапах развития школьной драмы в ней господствовал один церковнославянский язык, а «простая мова» выступала тогда уже почти исключительно в проповедях и катехизисах (Шевелев 1979, 575). Повести, новый беллетристический жанр, также чаще всего оставались в рукописях. Почти все они были переводами с польского (Шевелев 1979, 578).

В области историографии на «простую мову» были переведены, например, отрывки «Хроники» Мартина Бельского; на этом же языке составлялись и оригинальные летописи. Наряду с «простомовными» произведениями, существуют, однако, и летописи с церковнославянской языковой основой, напр., вершина русской историографии этих времен, «Синописи, или краткое собрание от разныхъ лѣтописцевъ» Иннокентия Гизеля (1574), уроженца Восточной Пруссии, или сильно славянизированная козацкая Летопись Григория Грабянки 1710 г. (Шевелев 1979, 576). Также «простой мовой» поданы т. н. «Толкованія» в Грамматике Лаврентия Зизания (ср., напр., Грамматики 2000, 33–34).

Впрочем, некоторые украинские и белорусские тексты трудно назвать «простомовными». Таковы, например, рукописные «Исторические записки» Федора Евлашевского, составленные на рубеже XVI–XVII вв. на интересном языке, не совпадающем с «простой мовой» (Свяжинский 1994а). Прежде всего, в этом тексте — по сравнению с типичными «простомовными» произведениями — заметно более глубокое влияние со стороны польского языка, охватывающее даже флексию<sup>30</sup>. Другой известный образец частных записок, «Диариуш» Афанасия Филиповича 1646 г. (Свяжинский 1994б; Шевелев 1979, 578) — на украинской основе, но со многими белорусскими чертами — обработан в языковом отношении намного тщательнее: в нем встречаются в основном только полонизмы, типичные для «простой мовы», а церковнославянизмы выступают прежде всего в цитатах из Библии.

Еще ближе к украинским и белорусским народным говорам обычно стоял язык т. н. люстраций, т. е. описаний владений и имущества (если они не были составлены по-польски). То же самое относится к т. н. интермедиям, которые игрались в антрактах школьных драм и высме-

<sup>30</sup> У Евлашевского встречаются, например, многочисленные имена прилагательные среднего рода с окончанием именительного падежа единственного числа на *-e* (*велке, квалтовне, заховане*) и родительного и дательного падежа на *-екго, -ему* (*велкекго, вшехмоганцэкго, мадрекго; велкему, млодему, кротрему*). Существительные и прилагательные женского рода в винительном падеже принимают иногда окончание *-э* (из польского деназализованного *-ę*) / *-а* (*впадлэм у велка хоробэ, зналисмы велка милост*), в творительном падеже даже *-а* (*за ласка божя, лева се ренка бронил*) и т. д. (Свяжинский 1994а).



ивали украинских и белорусских крестьян с их языком. Наиболее известна интермедия поляка Якуба Гаватовича 1619 г., язык которой основывается на волинских диалектах. Памятники такого рода показывают, что чем ближе язык того или иного памятника стоит к подлинным народным украинским и белорусским говорам, тем труднее назвать его «простой мовой».

Дело в том, что «простая мова» на самом деле была не народным языком, но чем-то вроде идеала языка украинской и белорусской шляхты. Как пишет Успенский (1987, 265), в этой роли «простая мова» должна была стать, по-видимому, аналогом польского языка, который в Польше и в Литве также считался прежде всего языком шляхты. На достоверность этого предположения указывают — не в последнюю очередь — многочисленные эпиграммы под гербами, представляющие собой, как правило, «простомовные» вирши. С другой стороны, если засвидетельствовано, что польские шляхтичи стыдились иногда знания латыни, считавшейся принадлежностью *hominis litterati*, то по Б. Успенскому (1987, 265) «надо полагать, что такое же отношение к цсл. языку могло иметь место у православной шляхты Ю.-З. Руси»<sup>31</sup>. Добавим, что между «простой мовой» как языком руськой шляхты и польским языком не было равновесия. Польский язык всё более вытеснял «простую мову», не только среди светских, но и среди церковных представителей украинских и белорусских элит, не только среди обращенных в протестантизм, католицизм или униатство, но и среди борцов за православие.

Что же можно сказать об устном употреблении «простой мовы»? Обратимся к сведениям, содержащимся в уставах братских школ, например Львовской (Огиенко 1930, 133). Здесь можно встретить следующие рекомендации:

Также учать на кождый день, абы дѣти единь другого пыталъ по грецку, абы ему отповѣдалъ по словенску, и тыжъ пытаются по словенску, абы имъ

<sup>31</sup> Замечательно, кстати, что в то же время, пока выростала такая богатая и разнообразная литература на «простой мове», деловой «русский язык» в два десятилетия, аоследовавшие за Люблинской Унией 1569 г., начал постепенно угасать. Даже князья Острожские, которые щедро поощряли возрождение церковнославянской книжной культуры, обычно издавали свои грамоты на польском языке (Карский 1904, 142). Уже с начала XVII в. употребление руського языка в актах и грамотах заметно сужается, а в 1696 г. варшавский сейм окончательно постановляет: «Pisarz powinien po Polsku, a nie po Rusku pisacъ» (Карский 1904, 143). Руський язык удерживался уже почти только в частных документах духовных лиц. Лишь некоторые села продолжали издавать руськие грамоты — очевидно, прежде всего потому, что там не было писарей, знавших польский или латинский язык. Лишь в гетьманской Украине после восстания Хмельницкого 1648–1654 гг. руський язык — на украинской основе — снова стал официальным языком (Шевелев 1979, 577). Однако с 1720 г. он постепенно вытесняется великорусским языком (Мозер 1998).

отповѣдано по простой мовѣ. И тыжь не мають з собою мовити простою мовою, ено словенскою и грецкою.

Таким образом, даже в тех школах, в которых самой «простой мове» не учились и в которых на ней нельзя было общаться, она все-таки играла немаловажную роль, служа окончательным средством разъяснения того, о чем шла речь. Между тем, в уставе Могилянской братской школы эксплицитно указано, что учителя «языка и письма словенского, русского, греческого, латинского и польского [...] учители повинны» (Успенский 1987, 267–268). Таким образом, следует полагать, что в некоторых братских школах всё же было какое-то преподавание «простой мовы». На такую практику указывают, кстати, и слова Смотрицкого (из полемического произведения «Exēthesis abo Expostulatia»):

*Szkoły dla ćwiczenia dzieciak w ięzyku graeckim, łacińskim, słowieńskim, ruskim y polskim są nam sporządzone»* (цит. по Фрик 1985, 35).

Если же «простая мова» была тем или иным образом представлена в школе, то надо полагать, что она также подлежала определенной регламентации. Учителя братских школ должны были обладать практическим знанием письменной формы «простой мовы», на которой они должны были читать, в частности, проповеди. Поэтому они должны были иметь определенный опыт, чтобы на его основе решать, какие языковые средства допустимы в «хорошей простой мове», а какие нет. В свою очередь, ученики, видимо, привыкали к нормам «простой мовы», прислушиваясь к учителям и проповедникам и читая различные «простомовные» произведения, например катехизисы и образцовые проповеди. Таким путем, они, вероятно, отвыкали от некоторых народных языковых черт, отвергаемых «простой мовой», за употребление которых следовало наказание: укор учителя или смех других учеников, — и привыкали писать и говорить на языке, более или менее совпадавшем с тем, на котором писались «простомовные» произведения, — примерно с таким же произношением, с каким они читались в их окружении (см. ниже). Таким образом, по всей вероятности, «простая мова» была, несмотря на ее фактическую искусственность, и живым языком в собственном смысле слова.

Разумеется, устное употребление «простой мовы» непосредственно нигде не зафиксировано. Однако некоторые памятники всё же иногда трактуются в качестве записей устной «простой мовы». Двухязычный «простомовно»-церковнославянский разговорник под заглавием «Розмова — Бесѣда», как недавно показал Г. Кайперт (2001), был составлен в середине XVII в. Иваном Ужевичем, автором «Грамматики славенской», в качестве дополнения к восьмизычному изданию популярного разговорника Берлемонта (датируемому XVI или XVII в.), т. е. в этом случае речь идет не только о письменном тексте, отражающем определенный идеал устного употребления «простой мовы», но и о переводе

иноязычного оригинала<sup>32</sup>. Тем не менее, как попытка дать образец устного употребления «простой мовы», «Розмова — Бесѣда» несомненно представляет немалый интерес. Впрочем, оставшись в рукописи (к тому же, за рубежом), «Розмова — Бесѣда» никогда не могла служить нормативным образцом для носителей «простой мовы».

Интересен вопрос об официальном устном употреблении «простой мовы». Говоря о Церкви, можно утверждать, что она занимала немаловажное место преимущественно вне литургии<sup>33</sup>, в частности, в поповедях. Если униат Иосафат Кунцевич писал:

Кгды теж читають евангеліе, албо якую молитву в голос [...] не мають выкладат словенских слов по руску, але так читати яко написано. Учитанное зас евангеліе або житіе сѣих читаючи людем, могут выкладати» (Болек 1983, 30), —

то это вполне соответствовало требованиям афонского борца за православие Ивана Вишенского:

Евангелиа и Апостола в церкви на литургии простым языком не выворачайте. По литургии же для вырозуменья людского попросту толкуйте и выкладайте (Болек 1983, 30; Вишенский 1955, 23).

Эта практика вполне соответствовала и постановлениям римско-католического тридентского собора (1545–1563): «*Missa vulgari lingua non celebretur, eius mysteria populo explicentur*» (ср. Клеменевич 1985, 228; Гольдблат 1991, 23). Кстати, если иметь в виду, что катехизисы традиционно писались для того, чтобы их учили наизусть, то их язык, вне сомнения, часто звучал в устном употреблении. Кроме того, «простая мова» также использовалась в некоторых церковных ритуалах. Например, в церковнославянском тексте киевского «Требника», изданного Петром Могилой в 1646 г., ритуал свадьбы излагается в следующей форме:

Іереи [...] въпрашаєть жениха [...] Рускимъ языкомъ, глаголя: «Маешъ Имркъ неотмѣнны и статечныи умыслъ заручити собѣ тепер тую Имркъ которую тут перед собою видишъ в' станъ Малженскіи» [...] По скончаніи [...] Слова, въпрашаєть Іереи Жениха Рускимъ языкомъ, глаголя: «Маешъ Имркъ волю добрую и не примушону и постановленийъ умыслъ поняти собѣ за малжонку тую Имркъ которую тутъ передъ собою видишь» [...] «Женихъ [...] свойственнымъ Рускимъ языкомъ глеть, рекшу Іерею: мовъ за мною: «я Имркъ беру собѣ

<sup>32</sup> Интересно, что польское издание не служило образцом для простомовного столбца, — за эту информацию я благодарю проф. Хельмута Кайперта, под чьим руководством в Бонне готовится издание этого текста.

<sup>33</sup> «Як ми бачили вище, жива мова українська стала з XVI в. також і мовою церкви, — нею виголошувано казані, цею таки мовою читано Євангелію й Апостола, нею ж були ріжні церковні читання. Але мовою богослужбовою українська мова тоді не стала [...] принаймні, перекладів на українську мову богослужбових книжок, таких, як, напр., Літургія, Вечірня, Ранішня, не знаємо. Відновлена ідея живої мови в церкві спинилась на пів-дорозі, — на українську мову перекладено тільки Святе Письмо та другорядні церковні книжки» (Огиенко 1930, 81; 84).

тебе Имркъ за малжонку и шлюбую тобъ милост, вѣру и учтивост малженскую» (Успенский 1987, 271).

Наконец, если брать официальное устное употребление «простой мовы» в светской сфере, то можно назвать по крайней мере два текста: речь подканцлера Великого княжества Литовского Льва Сапеги на Варшавском сейме 1588 г., предваряющая Литовский Статут 1588 г. (Хрестоматия 1961, 210–212), и т. н. речь Ивана Мелешка (Струминский 1984а). Речь Льва Сапеги, однако, представляет собой, по всей вероятности, перевод с польского оригинала, сделанный в связи с ее опубликованием в Литовском Статуте, так как на варшавских сеймах обычно говорилось только по-польски (Струминский 1984а, 149–150), а т. н. речь Ивана Мелешки на самом деле является анонимным сатирическим произведением 1615–1638 г., а не настоящей речью кастеляна Смоленска, Ивана Мелешка (Струминский 1984а). Тем не менее, эти тексты можно рассматривать как примеры того, как мог бы быть построен язык официальных речей на «простой мове». Кстати, нам кажется маловероятным, чтобы таких речей не было вовсе (например, на различных сеймиках). Наконец, третий текст, который можно было бы рассматривать в этой связи, — речь от имени львовского мещанства, адресованная польскому королю (т. н. «Лямент албо мова до короля его милости»), — судя по ошибкам текста, представляет собой лишь набросок настоящей речи, которую позже надлежало, вероятно, произнести по-польски (ср. также такие полонизмы, как *меньѣжне*, *цос болюшого*, *предсяж*, *понекодн*; Грушевский 1996, 14, Исаевич 1966, 103).

Подытоживая, можно с уверенностью сказать, что «простая мова» вполне отвечает одному из важнейших требований к литературному языку — полифункциональности.

### 5. Надрегиональность и нормированность «простой мовы»

Исследователи часто подчеркивали «искусственность» «простой мовы», чаще всего имея в виду присутствующие в ней многочисленные элементы польского или церковнославянского происхождения, не соответствующие их представлениям о «народном» украинском или белорусском языке. Но в принципе «искусственность» является признаком всякого литературного языка, который может быть близок к народным диалектам, на основе которых он был выработан, или относительно далек от них, но который никогда не совпадает с ними полностью. Поэтому, если речь идет об «искусственности» «простой мовы», то должны учитываться и другие моменты.

Одна из самых важных черт, отличающих «простую мову» от «чисто» народных вариантов белорусского и украинского языков, — это ее надрегиональный характер, который был унаследован от традиций древнего делового языка и усилен в рамках «простой мо-

вы»<sup>34</sup>. Это, конечно, не значит, что никаких региональных черт в «простой мове» нет. Однако диалектизмы встречаются в ней, как правило, только спорадически, как впавшие в русло «простой мовы» признаки происхождения автора, переписчика или печатника. При этом реже всего специфические диалектные черты выступают в печатных произведениях XVII в., контрастирующих по этой характеристике с последними десятилетиями XVI в. — начальным периодом выработки «простой мовы, когда таких черт имелось гораздо больше. Надрегиональный характер «простой мовы» обуславливался, в частности, кругом адресатов «простомовных» произведений, которые предназначались для всего «русского» народа Речи Посполитой.

Из признания надрегиональности «простой мовы» естественным образом проистекает и признание ее нормированности (в определенной степени). Какими конкретными чертами характеризовались произведения украинской и белорусской письменности среднего периода, подробно описано в монографиях по исторической грамматике украинского и белорусского языков. Однако эти работы обычно не рассматривают отдельно употребления украинских и белорусских языковых элементов, свойственного «простой мове». Попробуем сформулировать некоторые общие замечания:

1. Фонология и морфология «простомовных» произведений, насколько они отражены в орфографии, в основном отвечают правилам, общим для грамматического строя украинского и белорусского языков. Специфические черты, идентифицируемые как украинские или белорусские, или же как узкодиалектные, обычно не допускаются. Относительно часто в «простомовных» рукописях и в печатных книгах выступают<sup>35</sup> только отдельные признаки, например:

— написание рефлекса *e* из неударяемого *'a*<sup>36</sup> типа *светый*, распро-

<sup>34</sup> По этому поводу Огиенко (1930, 227) писал: «На витворення такої спільної урядової (актової), а потім і літературної мови впливало багато найрізніщих [sic!] причин, серед яких треба найперше назвати такі, як спільність державна, єдність віри та вищої церковної влади. Усе це, звичайно, багато допомагало виробленню одної, спільної для українців і білорусів, літературної «руської» мови, до якої увійшли ознаки мов обох цих народів». Ср. также Пью 1996, 287: “[...] Smotryc’kyj’s language [...] I see this language as a regional (certainly not *national*) variant of a supradialectal literary system.”

<sup>35</sup> Ср. также Огиенко (1930, 235): «Що теорію про свідомість утворення українсько-білоруської літературної мови не повинно перебільшувати, вказує на це також правопис «руської» мови. Річ у тім, що до правопису виленських канцелярій досить рано вдерлися дві фонетичних білоруських ознаки, а саме — писання *e* замість ненаголошених *ь* та *я*. Ця правописна риса скоро поширилася по цілій Литовько-Руській Державі, а з канцелярій зайшла й до літератури, чому в XVI-м столітті по всіх літературних чисто українських пам’ятках постійно маємо *e* замість *ь* або замість *я* навіть в складах наголошених. Очевидно, ця основна ознака всіх «руських» писань XVI віку, що була частіше чужою на українських землях, не промовляє за теорію спільної українсько-білоруської мови».

<sup>36</sup> Ср. в волынском Евангелии Негалевского: *свещеник, смотречи, светых* и т. д. (Назаревский 1911, 45).

страненное во многих диалектах белорусского языка, а также на северо-западе украинского языкового ареала,

— смешение *ь* и *e*, характерное для большинства белорусских диалектов и для северо-западных диалектов украинского языка в безударной позиции,

— смешение *и* и *ы* или после шипящих, *ц* и *р*, характерное для белорусских диалектов, в отличие от смешения *и* и *ы* независимо от позиции, характерного для украинских диалектов,

— написание рефлексов *o < e* в соответствии с белорусскими или же с украинскими правилами

— написание окончания *-мо*, типичного в основном для украинских диалектов.

Несмотря на присутствие таких признаков, писцы, а тем более авторы и изготовители печатных изданий, обычно старались избегать наиболее явных диалектных черт. При этом, хотя множество региональных фонетических черт, как правило, не находило отражения на письме, они, по всей вероятности, все-таки проявлялись, когда «простомовные» тексты читались или произносились вслух. Предположительно, белорусы, читая, например, слова типа ⟨не⟩ и ⟨бити⟩ или ⟨бит<sup>т</sup>⟩, произносили [n'e] и [b'ic'i] (или даже [b'ic'])<sup>37</sup>, а украинцы — [ne] и [bytu] соответственно. Далее, большинство украинцев произносило *ь* как [i] или [i<sup>ε</sup>], в отличие от белорусов, которые не отличали его от *e*. Весьма вероятно также, что белорусы часто акали, между тем как украинцы произносили рефлексy *o* и *e* в новых закрытых слогах именно так, как это было принято в их родных диалектах (ср. прив. ниже цитату: Назаревский 1911, 47). Кстати, на такую практику применения народной фонетики к ненародным текстам указывают, в частности, фрагменты записи украинского и белорусского церковного произношения латинским письмом, как они встречаются, например, в «Литосе» Петра Могилы, где зафиксировано украинское произношение типа *tilu, chlib, prydyte, woznesy sia, iedynoi, u*, или в церковных текстах, приложенных к польскому Псалтырю, изданному в Евье, где зафиксировано белорусское произношение типа *proswiety, widie, piesni, w hore* и т. д. (Огиенко 1930, 232–234). Таким образом, фонетика и фонология «простой мовы» имела, по всей вероятности, намного больше местных отличий, чем это отражают письменные памятники.

Об идеологической подоплеке этих орфографических привычек уже в начале XX в. велась занимательная дискуссия, начиная с П. Житецкого (1905, 6–7), высказывавшегося по поводу отсутствия фиксации

<sup>37</sup> Окончание инфинитива *-ть* даже на письме употребляется уже в Литовском Статуте, ср. Журавский (1967, 246): «Разгледжаныя Статуты з'яўляюцца па сутнасці першымі помнікамі, дзе новыя формы інфінітываў на *-ть* аказваюцца трывалай граматычнай нормай».

самых характерных диалектных черт в белорусских и украинских деловых памятниках XIV–XV вв. следующим образом:

Отсутствие *д'з* и *ц'* в западно-русских памятниках обыкновенно объясняют консервативностью книжного предания, и мы не отрицаем этого объяснения, но думаем, что нужно принять во внимание и другие соображения. Ведь не помешало писателям книжное предание очень часто смѣшивать, например, звуки *у* и *в*, поэтому нам кажется, что они руководствовались также больше или меньше сознательным выбором таких начертаний, которые, соответствуя белорусской фонетике, могли бы находить оправдание и в малорусских говорах. Смутно мелькала в их сознании идея языка, общего для всех племен славянорусских, входивших в состав литовского государства. [...] Под влиянием этой идеи они предпочитали звуки общие белорусским и малорусским говорам, избегая [...] даже иногда аканья. [...] Понятно после этого, почему в западнорусских письменных памятниках нет и специально-малорусских звуковых особенностей, например, *i* из *o*, *e*. Это была такого рода условность, которая не сопровождалась какой-нибудь теорией, но возникла среди книжных людей, как белорусского, так и малорусского происхождения, сама собой, *tacito consensu*.

В этой гипотезе сомневался, однако, уже Назаревский (1911, 47):

Хотя идея общего «русского» языка в противовес языкам польскому, литовскому и книжному церковно-славянскому — несомненно, была, однако вряд ли ее носители настолько уже отчетливо сознавали типические отличительные черты фонетики малорусской и белорусской, что могли сортировать их, выбирая одни и опуская другие, в своих произведениях. Большинство писцов были люди, очень далекие от той степени развития и, так сказать, филологической сознательности, какую они должны были иметь согласно приведенному объяснению Житецкого. Проще и вернее, на наш взгляд, было бы говорить лишь о взаимном орфографическом влиянии памятников зап.-русской и южно-русской письменности; путем такого влияния устанавливалась больше или меньше общая орфографическая манера, но под одним и теми же буквами могли скрываться различные в произношении малоросса и белорусса звуки; весьма возможно, что одно и то же слово, одинаково написанное, например, *дѣло* — белорусь читал как *дзело*, а малоросс — как *діло* ... и т. п.<sup>38</sup>

Несмотря на недоказанность гипотезы Житецкого, можно считать бесспорным, что уже «русский» деловой язык, а тем более «простая мова» обнаруживали далеко зашедшие процессы языкового выравнивания<sup>39</sup>.

<sup>38</sup> Ср. подобные замечания И. Огиенко (1930, 231–232).

<sup>39</sup> В этой связи приведем небезыңтересное высказывание В. Перетца (1958, 205) по поводу языка двух списков (обоих Софійских) рукописного Киево-Печерского Патерика: «Переводчик не ограничился пределами белорусско-украинского литературного языка, а внес довольно последовательно в свою работу специфические украинские особенности, фонетические и морфологические (например, *исти*, *ихали*, *цо*, *було* и т. п.)» Такой формулировкой и Перетц дает понять, что существует определенный запас языковых средств, допускаемых в совместном «белорусско-украинском литературном языке», а с другой стороны — элементы, которые в состав этого литературного языка не входят (хотя, по нашим наблюдениям, элементы типа *цо* или *було* встречались в про-

Польские и церковнославянские элементы выступали в «простой мове» почти исключительно в лексических заимствованиях и в синтаксисе. На других уровнях польские интерференции попадают чаще всего из-за недостаточно тщательной обработки польских образцов. Весьма вероятно, однако, что польская фонетика в языковой действительности также выступала иногда вследствие интерференции, когда говорящий — в конкретной ситуации — думал скорее по-польски, чем по-«руськи». Можно себе представить, например, что двуязычные священники, читая сильно полонизированные тексты, вследствие интерференции иногда произносили слова польского происхождения по-польски. Косвенным доказательством того, что такие интерференции выступали довольно часто, могут служить некоторые рукописные тексты (напр., «Троянская история» сер. XVI в. или «Дневник» Федора Евлашевского рубежа XVI–XVII вв.), которые обнаруживают множество фонетических и морфологических интерфермов, пришедших из польского языка, но отсутствующих, как правило, в прототипических<sup>40</sup> «простомовных» текстах.

Церковнославянские элементы, помимо лексики, выступали в «простомовных» произведениях при стремлении придать данному тексту особое сакральное достоинство. Иногда встречаются, скажем, церковнославянские окончания прилагательных вроде *-аго* (род. пад. м. р. ед. ч.) или *-ыя* (им. пад. ж. р. м. ч.), хотя чаще они заменяются «народно-разговорными» окончаниями *-ого* и *-ыть* (> *-ые*, *-и*). Отчасти они указывают на отмирание известных категорий в народных языках. Это касается, например, действительных причастий настоящего времени, которые иногда выступали с церковнославянским формантом *-иц-* вместо *-ч-* (*знаюций* вместо *знаючий*). Так как сама фонетика церковнославянского языка украинского и белорусского изводов более или менее совпадала с народным украинским или белорусским языком, на этом уровне о церковнославянской интерференции не может быть речи. Неосознанная церковнославянская интерференция, помимо лексической, в общем кажется крайне маловероятной.

2. Синтаксический строй «простомовных» текстов был, как правило, весьма сложным и изощренным<sup>41</sup>, зачастую производным от польских оригиналов. Построение периодов, естественно, являлось также одним из полей применения стилистической дифференциации и зависело от жанра данного текста. В «простомовных» текстах обычно

---

стомовных произведениях настолько часто, что их можно считать полноправными составляющими «простой мовы»).

<sup>40</sup> Под прототипом понимается здесь (по Э. Рош): «„Bestes“ Exemplar einer Kategorie, das als Muster für die Einschätzung der übrigen Vertreter der Kategorie gilt [...] es besteht ein „Prototypengradient“ zum Zentrum der Kategorie, je nach der Ähnlichkeit mit dem Prototyp» (Ребок 2000).

<sup>41</sup> См. также Успенский (1987, 261): «О книжном (литературном) характере „простой мовы“ свидетельствует ее сложный синтаксис, явно искусственный и противопоставленный синтаксису разговорной речи».



используются довольно сложные конструкции. Деепричастные обороты нередко осложняют синтаксис простых, сложносочиненных и многочисленных сложноподчиненных предложений. Причастные обороты часто выступают в сложных определениях имен существительных.

Таким образом, синтаксис «простомовных» текстов существенно отличался от обыкновенного «народного» синтаксиса. Бесспорно, и на этом уровне присутствуют польские заимствования. С одной стороны, это вполне усвоенные полонизмы, внедрившиеся в синтаксический строй украинского и белорусского языков (даже в такой сфере, как употребление падежей). С другой стороны, это могли быть элементы, употребляемые в «простомовных» текстах, но не распространившиеся в большинстве украинских и белорусских диалектов: например, служебные слова вроде *кды, зась, ктокольвѣкъ* и т. д.)<sup>42</sup>. «Простомовные» переводы с польского языка в синтаксическом плане обычно не отличаются от своих оригиналов существенным образом, а оригинальные «простомовные» произведения, как правило, обнаруживают тот же синтаксический строй, что и польские тексты того времени.

С другой стороны, церковнославянские образцы не играли какой-либо важной роли в синтаксической обработке «простомовных» текстов. Характерные для церковнославянского языка цепи простых предложений, прерываемые причастными оборотами, в том числе и конструкциями с дательным самостоятельным, в переводах на простую мову заменялись чаще всего сложными конструкциями гипотактического типа. Если причастные обороты не выступали как определения имен существительных, они переводились, как правило, деепричастными конструкциями. Наглядным примером этого может служить отрывок Триоди постной в московской версии 1589 г., в сопоставлении с переводом Триоди постной, напечатанной в Киеве в 1627 г. (Курс 1958, 76):

Юліану преступнику по Коньстянти великого Коньстянтина сынѣ хоругви царствія удержавшу и от Христа ко идоложерѣству преложьшуся, гоненіе на христіяны возъдвиже велико, явѣ же вкупѣ и не явленнѣ. Отрек убо злочестивый еже мучити суровѣ, вкупѣ же и объявлено безчеловѣчнѣ тако искушати христіяны, стыдся убо и обзирая да не прилагаются множайшніи, сокровенне и нѣкако осквернити их лъстивый неподобнѣ умысли.

Гды Юліан преступник по Константіи, великого Константина сынѣ скипетра царства одержал и от Христа до балвохвалства перешол и отступил, прослѣдоване на христіяны барзо великое повстало и почалося явне, посполу и потаемене. Нехотячи, теды незбожник оный мучити тяжко, так же теж и открытъ так довсвѣтчати христیان веты даячися, к тому и обавляючися, жебы болей вѣрных не прибывало, потаемене ся зрадливый и непобожный радил, яко бы их могл посквернити и опоганити.

<sup>42</sup> Впрочем, нельзя упускать из виду, что множество польских служебных слов проникло также в народные говоры, прежде всего на западе украинского и белорусского языковых ареалов.

3. Лексика «простой мовы» была открыта для проникновения польских, а также церковнославянских элементов. Как правило, «простомовные» авторы не только ориентировались на польские оригиналы, но и опирались на польский языковой образец, нередко даже независимо от того, находился ли перед их глазами конкретный польский подлинник или нет. Вследствие широко распространенного двуязычия польская лексика была настолько усвоена представителями украинских и белорусских элит, что некоторые «простомовные» тексты отличаются от реально существовавших подлинников или от потенциальных польских «подлинников», существовавших лишь в головах авторов, фактически только на уровне фонологии и морфологии. Весьма показательное следующее утверждение А. Назаревского (1911, 24) по поводу языка Евангелия Негалевского в сравнении с языком его польского первоисточника, Евангелия Чеховица:

[...] внимательнѣе присмотрѣвшись, мы и у Негалевского найдемъ известную долю самостоятельности; окажется, что онъ не только переписывалъ польскій текстъ русскими буквами, но — кое-что опускалъ вовсе, мѣстами дѣлалъ выборъ изъ параллельныхъ чтеній, а нѣкоторыя слова и выраженія замѣнялъ другими, переводилъ<sup>43</sup>.

То же самое можно сказать о множестве других «простомовных» текстов: «самостоятельность» сводится, как правило, к настоящему переводу лишь ограниченного набора слов. Отношение большинства «простомовных» текстов к их оригиналам напоминает ту практику, о которой писал патриарху Иоакиму архимандрит Киево-Печерской Лавры Василий Ясинский:

Еще бо блаженныя памяти [...] митрополитъ Кіевскій Петръ Могила увидѣ, яко мнози здѣ отъ священниковъ, на праздники святыхъ Божіихъ не имуще откуду прочести въ церкви предъ народомъ житія коего отъ святыхъ пространнѣе же въ прологахъ написано, обыкоша то отъ книгъ полскихъ, церкви православной не прислушающихъ и много оной противящихся, читати, прелагающе словесно на русскую рѣчь, не безъ многаго прегрешения (цит. по Мартель 1938, 113).

Кстати, вполне вероятно, что такая практика перевода польского текста «с листа» (в этом случае — «*Żywotów świętych*» Петра Скарги») на «простую мову» скрывается также за знаменитым анекдотом Касияна Саковича о некоем попе из окрестностей Львова, который читал из «Постиллы» кальвиниста Миколая Рея, открывая свою проповедь словами: «*Posluchayte Chrestiane Kazania światoho Reia*» (Фрик 1994, 212; 233): наверное, упомянутый поп просто перекладывал польский текст, придавая оригиналу украинские фонетические и морфологические черты.

<sup>43</sup> Назаревский (1911, 28–29) помещает также выборочный список тех польских слов, которые Негалевский не перенял. Этот список не очень велик, но ему сопутствует общее утверждение, что переведенных слов насчитывается «громдное количество».

Если у него уже был определенный опыт в этом занятии, он, вероятно, мог обходиться даже без письменной записи «руського» текста, пусть «не безъ многого прегрешения» не только в религиозном, но и в языковом отношении.

В этой связи Фрик (1994, 221) совершенно оправданно ставит вопрос:

If our poor priest ‘thought in Cyrillic’ as he read from, and adapted for his Orthodox audience, the Polish-language sermons of Mikołaj Rej, in what manner did his oral performance differ from the written performances of Smotryc’kyj, Mohyla, Sakovyč, and others, who translated, adapted, and based themselves upon Polish texts and models when they composed in Ruthenian?

По-видимому, украинские и белорусские авторы как устных, так и письменных текстов в целом не были связаны какими-то существенными ограничениями, когда речь шла об употреблении лексических полонизмов<sup>44</sup>, тем более, если они имели в руках польские оригиналы: в этих случаях частотность полонизмов, как правило, оказывается особенно высока<sup>45</sup>. Впрочем, украинцы и белорусы сами осознавали перенасыщенность своего языка полонизмами. Автор анонимной «Перестороги» 1615–1616 гг. писал:

Як Поляцы у свой языкъ намѣшали словъ Латинскихъ, которыхъ южь и простые люди зъ налогу уживають; такъ же и Русь у свой языкъ намѣшали словъ Польскихъ и оныхъ уживають (цит. по Мартель 1938, 93).

Кроме польских элементов, ощутимой была — особенно в лексике — церковнославянская стихия. Правда, церковнославянская лексика использовалась главным образом в сфере религии и духовной культуры, прежде всего, наверное, потому, что соответствующие понятия были связаны с православными традициями (которые противопоставлялись католическим), а также потому, что авторы стилистически украшали свой язык церковными элементами, желая придать ему оттенок особого достоинства. Такой узус можно наблюдать, например, в переписке духовных лиц (ср., например, Голубев 1898, приложения, 28–46). Почти все «простомовные» авторы происходили из высших слоев православного или униатского духовенства и, как правило, достаточно

<sup>44</sup> Это, впрочем, относится уже к «руському» деловому языку, пусть в еще меньшей мере. Ср. Карский (1904, 140): «Понятно, что для сеймов и ратушь не мог быть подходящим языкъ богослужебныхъ книгъ, какъ уже раньше онъ оказался неудобнымъ въ Зап. Руси, какъ отчасти и въ Восточной для грамотъ и актовъ: нужно было прибѣгнуть къ языку народному; а такъ какъ въ немъ многихъ терминовъ для выражения новыхъ понятий не было, то пришлось брать ихъ изъ другихъ языковъ, и прежде всего изъ польскаго или при посредствѣ его изъ западныхъ, такъ какъ съ ними были знакомы, всѣдствие частыхъ общеній съ Польшей, высшій и отчасти средній классы».

<sup>45</sup> Множество параллельных мест на польском языке и на «простой мове» можно найти в монографии Мартеля 1938.

хорошо знали литургический язык. Нередко церковнославянские элементы проникали также из церковнославянских оригиналов<sup>46</sup>.

Впрочем, наличие неукраинской и небелорусской по происхождению лексики в «простой мове» обуславливается не в последнюю очередь и тем, что для большинства абстрактных понятий из сферы религии и духовной культуры просто не существовало «народных» украинских или белорусских слов, так как об этих предметах столетиями писалось исключительно по-церковнославянски. Поэтому «простомовные» авторы или употребляли традиционные церковнославянские слова, или же перенимали польские слова, бывшие в обиходе среди белорусской и украинской светской и духовной элиты. Возможность изобретения новых слов на «чисто русьской основе» не рассматривалась культурными деятелями той эпохи. Характерный для романтиков пуризм был им еще совершенно чужд.

Кстати, еще одним признаком литературного языка, связанным с его общей нормированностью, считается стилистическая дифференциация средств выражения. По отношению к ней можно с уверенностью сказать, что авторы «простомовных» текстов, как правило, хорошо знали канон риторических тропов. Это и не удивительно, если имеется в виду, что большинство из них проходило в иезуитских или в братских школах по крайней мере *Trivium*. Таким образом, «простомовные» авторы должны были уметь пользоваться стилистическим потенциалом своего языка. Кроме того, не подлежит сомнению, что «простомовные» авторы явно соблюдали языковую дифференциацию по жанрам. Как средство стилизации, по-видимому, использовалась, среди прочего, разнородность «простой мовы». Например, церковнославянские вкрапления придавали тексту оттенок возвышенности. Естественно, конкретные стилистические качества того или иного текста зависели от возможностей его автора.

## 6. (Не)кодификация «простой мовы»

Настоящая кодификация «простой мовы» никогда не была осуществлена. Правда, таковой иногда считают «Граматику славенскую» 1643 г., составленную студентом парижской Сорбонны Иваном Ужевичем. Но эта написанная по-латыни грамматика существует лишь в двух рукописных списках, хранящихся за рубежом, в Париже и в Амстердаме (Ужевич 1970). Таким образом, она не могла обеспечивать на-

<sup>46</sup> Вряд ли можно согласиться с утверждением Б. Успенского (1987, 262), что «простая мова» существует в двух вариантах, причем «украинский вариант простой мовы более славянизирован, белорусский в большей степени полонизирован». Достаточно указать на сильно полонизированный киевский катехизис Петра Могилы 1645 г. (Голубев 1898, приложения, 358–469), в котором церковнославянские элементы играют весьма незначительную роль.

стоящей кодификации «простой мовы». Кроме того, как шаг к кодификации «простой мовы» иногда рассматривают переводы нескольких парадигм на «простую мову» в церковнославянской грамматике Мелетия Смотрицкого (Успенский 1987, 268). Но и это сомнительно, так как «простомовные» столбцы приводятся там лишь в качестве перевода собственно кодифицированных церковнославянских столбцов. Таким образом, нормированность «простой мовы» основывается не на кодификации, а на узусе. «Простомовные» авторы ориентировались на свое знание родного «руського», польского и церковнославянского языков. Благодаря этому, почти все исследователи признают некоторую степень нормированности «простой мовы».

Впрочем, отсутствие кодификации ставит исследователя перед немалыми трудностями, когда нужно определить, какие конкретные элементы могут считаться литературными признаками «простой мовы», а какие нет? В связи с этим весьма любопытную гипотезу высказывает Успенский (1987, 263):

[...] «проста мова» обнаруживает определенную свободу варьирования, и это определяет специфику ее описания: если ц-сл. язык может быть описан как независимая и самостоятельная языковая система, то признаки «простой мовы» определяются в ее противопоставленности ц-сл., диалектному или польскому языку (иначе говоря, если ц-сл. язык может быть описан как система правил, то «проста мова» может быть описана как система запретов)<sup>47</sup>.

Идея описания «простой мовы» как системы запретов, несомненно, заслуживает пристального внимания. Естественно, составление списка всех возможных признаков, не допустимых в «простой мове», не представляется возможным. Тем не менее, можно было бы попытаться, например, выделить ряд языковых признаков, отмечаемых в грамотах частного или регионального характера, а также в рукописных текстах, но отсутствующих в наиболее репрезентативных изданиях украинской и белорусской печати.

Видимо, по соображениям украинцев и белорусов только церковнославянский язык нуждался в кодификации. Грамматики Лаврентия Зизания 1591 г. и прежде всего Мелетия Смотрицкого 1619 г. (ср. Грамматики 2000), как первые весьма удачные опыты научного описания церковнославянского языка в современном смысле слова, оказали огромное влияние на всех православных славян, а также на православных румын и на хорватских католиков-глаголитов. Кодификация церковнославянского языка была связана с общим возрождением церковнославянской книжной культуры, направленным на противодействие

<sup>47</sup> С некоторыми заключениями Успенского, однако, нельзя согласиться безоговорочно. Напр. Успенский (1987, 263) пишет, что церковнославянский язык в качестве неизменяемого в принципе «языка» противопоставлялся «простой мове» именно в качестве меняющейся «мовы (речи)». Такие терминологические различия скорее являются проекцией a posteriori: Термин «простый язык» употреблялся современниками не менее часто, чем «простая мова».

попыткам Римской католической Церкви присоединить православную Церковь к церковной Унии. Возрождение церковнославянской книжной культуры проявилось не только в создании первых научных грамматик. Еще в 1581 г. в Остроге вышел из печати первый полный перевод Священного Писания — т. н. «Острожская Библия», служившая, между прочим, важнейшим источником при кодификации церковнославянского языка. Позднее на этом же языке писалась силлабическая поэзия и школьные драмы, со временем распространившие свою популярность на Россию, а также на Сербию. В общем, именно церковнославянская культура, пестуемая в пределах Речи Посполитой, была в свое время наиболее развитой и влиятельной. После присоединения украинских территорий, находившихся на левом берегу Днепра, а также Смоленска и Полоцка, к Московскому государству в 1667 г. украинцы и белорусы заняли ведущие позиции в культурной жизни России. Позже воспитанник Киевской академии Мануил Козачинский с сотрудниками способствовали тому, что церковнославянский язык русского извода был принят в качестве литературного языка сербами. Церковнославянский язык рассматривался как общий язык православной культуры, как сакральный язык и, наконец, как язык, пригодный для изложения свободных наук. На Украине и в Белоруссии он воспринимался как функциональный аналог латыни в западном мире, в частности у поляков.

С другой стороны, «простая «мова» была преимущественно языком светского общения и языком прикладной теологии. В принципе, она должна была выполнять те же функции, что польский язык у поляков. Хотя «простая мова» не совпадала с народным языком, она, тем не менее, по всей вероятности, рассматривалась современниками именно как таковой, как идеал живого «русского» языка. Поскольку же «простая мова» считалась живым языком, ее кодификация не казалась им необходимой. Это, впрочем, в принципе не отличало украинцев и белорусов от поляков: древнейшие грамматики польского языка, начиная со знаменитого первенца, опубликованного в 1568 г. французом Пьером де Тионвилем, т. е. Петром Статориусом-Стоенским, — «*Polonicae grammatices institutio*», также не были составлены поляками для поляков. Они были написаны иностранцами для иностранцев, желавших учиться польскому языку. Первой грамматикой польского языка, написанной поляком, но также в первую очередь для иностранцев, была «*Compendiosa linguae polonicae institutio*» Яна Карола Войны, вышедшая в свет только в 1690 г. (Вальчак 1999, 184–190).

## 7. Предпосылки упадка «простой мовы»

Нередко «простомовные» авторы специально обосновывали употребление именно такого языка своих произведений, причем их высказывания сводятся к тому, что «русский» или «простой язык» избран

«для лепшого вырозуменія люду христіанского посполитого» (предисловие к Пересопницкому Евангелию), т. е. для того, чтобы «простой народ», не знавший церковнославянского языка, мог понять эти тексты. Однако этим вопрос не исчерпывался.

Валентин Негалевский, например, писал в переводе евангелия Мартина Чеховица, почти дословно повторяя — и адаптируя — аргументацию своего польского предшественника:

Ачколвекъ не самъ з своее властное хути, яко бы розуму своему и уиетности уфаючи або привлащаючи, ласкавый чителнику, того ся есми важиль же с полскаго языка на речь рускую писма нашего нового тестаменту преложиль, а ижемъ то учинил за намовою и напомниманемъ многихъ ученыхъ, богобойныхъ, А слово Божее милующихъ людей, которые писма полскаго читати не умеют, А языка словенского читаючи писмом руским, выклады з словъ его не розумеют (Назаревский 1911, 119)<sup>48</sup>.

Другой подвижник «простомовной» письменности, Василий Тяпинский, писал в рукописном предисловии к своему печатному двуязычному Евангелию:

Вжобо а еще хотяж то небезболшое трудности пришло. ижъ двема езыки зараз исловенскимъ и приемъ тутжо рускимъ. атонаболшии словенскимъ. азлаща слово отслова, такъ яко они вси везде вовсих своихъ црѣвахъ чтут. имают. неодно для лѣпшого ихъ вѣри, жесе не новое што, але ихже властное. имъ подает. алетеж идля лѣпшого имъ розсудку нато и для ихъ самихъ цвиченя втом неледа учономъ езыку словенскомъ еѣглия, писаня стго матгея иѣтго марка ипочатокъ луки. естъ втои убогои моеи друкарни отмене имъ выдруковано. [...] Бо ахто бѣгобины не задержити натакую казнь бѣію гледечи, хтобы немусил плакати. видечи такъ великихъ княжат. такихъ пановъ значныхъ. такъ мног(о) детокъ невинныхъ мужовъ жнонами втакомъ заномъ рускомъ азлаща передъ тымъ довестиномъ учономъ народе. езыка своего славнаго занедбане. а просто възгарду. скоторое запокаранемъ панскимъ оная яспая [так!] ихъ вслове бѣжемъ мдрость. акоторая имъ была праве яко врожоная, гды отнихъ отишла, на ее мѣстьце натыхмѣсть, такая оплаканая неумеетность пришла. же вжо некоторые и писмомъ се своимъ. а злаща в слове бѣжемъ встыдают. Анаостатокъ што можетъ быти жалоснейшая што шкарадша. ижъ итые што се межи ними зовуть дѣховными, и учителя, смѣле мовлю намнеи его неумеют, намнеи его вырозуменя незнают, анисеvemъ цвичат. але и ани школы ку науце его нигде не мают. зачимъ впольскіе, або в иныи писма затакою неволею, немало и у себе и дети не безъ встыды своего, бы се одно почули немалого заправають (Владимиров 1889, 2–3).

<sup>48</sup> Чехович писал: «Aczkolwiek nie sam z swey własney checi, iakoby dowcipowi swemu i umiejetności ufaiac, laskawy czytelniku, tegom się wazył, że z greckiego języka na rzecz naszą Polską, pisma naszego nowego testamentu przełożył [...]» (Назаревский 1911, 19). Текст Негалевского, однако, в предисловии не всегда совпадает с подлинником Чеховича. См. замечание А. Назаревского (1911, 22): «[...] предисловие Негалевского, действительно, представляет не что иное, как лишь значительное сокращение, предумышленное? Чеховича или — в очень немногих случаях — изменения, добавления самого Негалевского. В такой же зависимости от перевода Чеховича находятся и примечания к евангельскому тексту, помещенные в перевод Негалевского; причем многие из примечаний вовсе опущены у Негалевского, а некоторые сокращены».

Таким образом, употребление «простой мовы» должно было, по мысли этих авторов — а оба они являлись антитринитаристами (ср. Назаревский 1911, 11), — восстановить ясность Священного Писания, исходя, в первую очередь, из того, что современники уже не понимали исконного церковнославянского текста. И как Негалевский и Тяпинский, так и другие культурные деятели, в том числе и православные, неоднократно жаловались в XVI и XVII вв., что даже духовные люди уже не понимают церковных книг. Это отмечали и представители высшей иерархии, как, например, митрополит Михаил Рагоза в одном послании, датированном 1592 г.:

Ученіе святых писаній зъло оскудѣ, паче же Словенскаго Россійскаго языка, и вси челоуѣцы приложишася простому несъвершенному Лядскому писанію (цит. по Успенский 1987, 272).

Сперва, однако, не все осмеливались переводить религиозные тексты на «простую мову»: Перевод Священного Писания всегда осознавался как определенный риск ереси, тем более в случае перевода на «простую мову», который чаще всего выполнялся с польских, т. е. иноверческих, оригиналов. О таких опасениях, в частности, говорит гетман Григорий Ходкевич, объясняя, почему Учительное Евангелие, напечатанное под его опекой в Заблудове в 1569 г., не изложено на «простой мове»:

Помыслиль же бьль есми и се, иже бы сію книгу, выразиумънію ради простыхъ людей, преложити на простую молву, и имѣль есми о том попеченіе великос. И совещаща ми люди мудрые, в том писмѣ ученые, иже прекладаніемъ з давныхъ пословиць на новые помылка чинится немалая, яко же и нынѣ обрѣтается в книгахъ новаго переводу. Того ради сію книгу, яко здавна писаную, влѣль есми ее видруковати, которая каждому не есть закрыта, и к выразиумънію не трудна, и къ чтенію полезна» (Огиенко 1930, 82).

И всё же после почина, сделанного в 1616 г. Мелетием Смотрицким, множество Учительных Евангелий писалось, а отчасти и печаталось преимущественно на «простой мове». Дело в том, что церковнославянский текст в сфере прикладной теологии уже не имел адресатов. Поэтому Мелетий Смотрицкий и воспользовался «простой мовой». По его словам, уже Каллист, мнимый автор греческого оригинала, перевел его с греческого на церковнославянский язык:

Теперь зась (пре незнаемость и неумѣтность языка Словенского многих) многим мало потребен и непожиточен ставшися. знову переложенем его на язык наш простый Руский, якобы з мертвыхъ воскрешон, а выданем з друку на всѣ широкии славного и старожитного народу Російского крайны розослан будучи, всѣми потомными вѣки, всѣхъ, а иле простѣйших, а языка Словенского не умѣющих, и для того подчас до заразливыхъ еретической (слова поданои и шкриптом выданои) науки паствиск удаватися звьклых, учил. А затым тот который тых часов хот в зацнѣйшом, пенкнѣйшом, звязнѣйшом суптелнѣйшом и достаточнѣйшом языке Словенском, пре неспособность слушачов, немногим пожиточен



был: тепер хот в подлѣйшом и простѣйшом языке, многим, албо рачей и всѣм Руского языка, якоколвек умѣтным, потребен и пожиточон быти могль (цит. по Фрик 1985, 38).

Итак, «подлѣйший и простѣйший» язык употреблялся Смотрицким по той единственной причине, что он — в отличие от церковнославянского — был общепонятен. Однако тот же самый Смотрицкий издает в 1610 г. в Вильнюсе «Threnos To iest Lament iedyney s. Powszechney Apostolskiey Wschodniey Cerkwie» на польском языке — и с тем же самым пояснением: «dla snadnieyszego wszecz ludzi poięcia». Любопытно, что при этом Смотрицкий присочинил, будто речь идет о польском переводе церковнославянского перевода греческого оригинала, чтобы придать своему произведению более высокое достоинство. Он разделял распространенное мнение, согласно которому церковнославянский язык имел равновысокое достоинство с греческим и латинским, тогда как польский язык и русская «простая мова» стояли на одинаковой ступени более низкого достоинства. Ими пользовались лишь для того, чтобы обеспечить понятность написанного.

Что же тогда препятствовало «простомовным» авторам с самого начала издавать свои произведения только по-польски? Вероятный ответ содержится в знаменитой петиции киевского сеймика к польскому королю Стефану Баторию (1571 г.):

Особливе теж его кр. м. нїго мѣтннго пїа просимь, — абы листы сеймовые, универсалы, констытуцїи и каждая справа подле обетницы и привилїю [!] его кролевское милости, при сконченю уней выданого, не иншими литерами и словы, одно рускими литерами и езыком до земли киевское писаны и выдаваны были, кгдаж з млодости нашого писма отцове наши учити нас не давали, одно своего прирожного руского, і школы теж полское в Києве немашь, а кгда приносят листы его кр. милости, писаные полскими литерами з мешанемь латинских слов, вырузумети не можем [...] (Огиенко 1995, 101).

Украинские и белорусские шляхтичи рассматривали употребление «русского» языка как свое исконное право. Но их эксплицитный протест в 1571 г. касался лишь польского алфавита и типических для польского делового языка того времени латинизмов. Между тем, о самом польском языке не было речи, видимо потому, что шляхтичи понимали его без особых трудностей. Если шляхтичи учились грамоте, то обычно только кириллическому письму, так как только его знание требовалось от них издавна, чтобы уметь читать деловые бумаги. По той же причине на «простой мове» пишет арианин Негалевский: русины, не знающие латинских букв, должны иметь возможность читать и понимать Священное Писание. В языковом отношении его текст, кроме «русской» фонологии и морфологии, отличается от польского оригинала преимущественно кириллическим письмом. Итак, самый важный шаг к лучшей понятности польского текста состоял в его транслитерации. Поэтому и Василий Тяпинский, борец против полонизации ру-

синов, безмятежно основывает свой «простомовный» столбец на польском оригинале, в основном лишь транслитерируя его кириллическим письмом.

Таким образом, «простая мова» в конечном итоге выступает в первую очередь как средство в борьбе за кириллическое письмо, оставшееся важнейшим символом «руськости» в сфере письменности. И православные, и униаты настаивали на этом символе как на принципе, хотя они же писали и говорили по-польски, поскольку также хотели быть понятными польской публике и принимать активное участие в общественной жизни Польши на равноправной основе<sup>49</sup>. Впрочем, и такие протестанты, как Валентин Неглаевский, Василий Тяпинский или Симон Будный, осознавали, что на успех в миссионерской работе среди русинов можно рассчитывать, лишь имея в распоряжении «простомовные» тексты. Это понимал, кстати, и знаменитый иезуитский борец за католицизм Петр Скарга:

Trzeba było u na Polski, abo na Ruski język przekładać Ruskim narodom rzeczy, ku temu służące, żeby rychley prawdę obaczyli (цит. по Фрик 1985, 30).

Именно поэтому римские католики издали в 1585 г. в Вильнюсе переведенный с латыни на «руський» язык «Катихисис», который должен был соперничать с катехизисом арианина Будного (Фрик 1985, 28). К концу XVI в. употребление руського языка, по-видимому, считалось еще необходимым средством для успешного влияния на русинов.

«Руськость» же языка в то время заключалась прежде всего в употреблении кириллического письма. Фрик (1994, 21) совершенно справедливо утверждает:

Without the graphic transferal from Latin to Cyrillic scripts it is difficult to imagine that there would have been any printed works in the early seventeenth century that advertised themselves as 'translated from Polish into Ruthenian'.

Не случайно Мартель (1938, 54–61) начал свою классическую монографию, посвященную полонизации русинов, с наблюдения, что, начиная с конца XVI в., под их грамотами появляется всё больше подписей на латинском письме. Если вспомнить слова протеста киевского сеймика 1571 г., то в нем не было сказано, что польскоязычные грамоты, даже с их латинскими элементами, мешали шляхтичам как таковые. Напротив, было даже выражено сожаление по поводу отсутствия школ, в которых шляхтичи могли бы усваивать польское письмо. Таким образом, в конечном итоге представители киевского сеймика настаивали на своих правах, признаваясь в собственном неумении, однако

<sup>49</sup> Ср. Фрик (1994, 213): «In general, participation in the public life of Poland-Lithuania brought with it — or, depending upon one's point of view, came only at the cost of — a certain degree of Polonization.»

в принципе желали этот недостаток преодолеть. На этом фоне польское письмо, как и сам польский язык, с течением времени приобретали в их глазах всё больший престиж. Ход развития был, по словам Мартеля (1938, 54–55; 61), следующий:

Pendant les deux premiers tiers du XVI siècle, toutes les signatures de nobles que l'on rencontre au bas des documents sont en caractères cyrilliques. Puis il se produit un changement. Les nobles prennent l'habitude de signer leur nom en caractères latins, en le faisant suivre de la formule polonaise: *reka własna*, ou *renkon własnon*, ou bien encore *reka swa*. La mode s'établit dans les dernières années du XVI siècle [с. 55: 1585–1595], et c'est au moment où Basile Tjapinskij reproche à la noblesse ruthène de 'ne plus oser' signer en caractères cyrilliques. Elle prend si bien qu'il est exceptionnel de rencontrer des textes officiels ruthènes du XVII siècle signés en lettres cyrilliques.

Итак, в начале XVII в. почти все представители шляхты уже подписывали грамоты по-польски, а спустя приблизительно двадцать лет их примеру последовало высшее духовенство, как православное, так и униатское. Одновременно польский язык всё более вытеснял русский язык из сферы делопроизводства. До 1696 г. сохранились лишь традиционные русские формулы, между тем как сами тексты уже преимущественно писались по-польски (Мартель 1938, 61–65).

Таким образом, когда элита русинов отказалась от кириллической азбуки, идеологическая основа выработки «простой мовы» исчезла, поскольку прототипический текст на «простой мове» представлял собой переделку польского оригинала, отличающуюся от него в первую очередь кириллическим письмом и русскими флексиями. Поэтому «простая мова» была обречена на неизбежный упадок. К концу XVII в., в польско-литовском государстве как отличительный признак русинов уже берется лишь православная или униатская конфессия и связанное с нею присутствие церковнославянского языка в церковных книгах и в литургии. Шляхта, как и мещанство, к тому времени уже перешла на польский язык и польское письмо. Таким образом, прежних адресатов «простомовных» произведений уже не стало. Соответственно, полемика православных с католиками и униатами ведется, начиная с 20-х годов XVII в. уже исключительно по-польски. Кроме проповедей и катехизисов, солидных изданий на «простой мове» уже со второй половины XVII в. печатается довольно мало. И если в XVIII — нач. XIX вв. «простая мова» всё же сохраняется еще в униатских монастырях (Успенский (1987, 263), то речь здесь идет об отчаянных попытках василиян противодействовать дальнейшей полонизации крестьян, и тем паче их обращению в римский католицизм<sup>50</sup>. На «простой мове» печатались

<sup>50</sup> Однако, вопреки мнению Б. Успенского (1987, 263), т. н. «язычие», употребляемое в Галиции в XIX в., едва ли можно рассматривать как непосредственное продолжение «простой мовы»: В «язычии» весьма важную роль играют, как правило, великорусские элементы, которых в «простой мове» еще нет совсем. Да и церковнославянская стихия оказывает здесь — по сравнению с простомовными текстами —

уже почти исключительно немногочисленные катехизисы и проповеди, а также духовные песни. «Простая мова» теперь была ориентирована лишь на настоящее «простонародье», на крестьян. И сегодня в Западной Белоруссии и в Литве люди говорят о белорусских диалектах как о «простой мове». «Простомовные» произведения XVIII в. — нач. XIX в. из типографий Супрасля и Почаева принадлежали униатским священникам, которые нередко доходили уже до того, что применяли в этих изданиях польскую транслитерацию. Правда, в Галиции и в Закарпатье до первой половины XIX в. традиции «простомовных» катехизисов и проповедей еще не были окончательно забыты. Но всё же и там развитие нового литературного языка пошло в конце концов другим путем — через обращение к народной основе.

Такова была, вкратце, судьба «простой мовы» в польско-литовском государстве. В тех его частях, которые были присоединены к России в 1667 г. и в результате последующих разделов Польши, «простая мова» была, начиная с первого запрета печатания «простомовных» книг, изданного Петром Великим в 1720 г., довольно быстро вытеснена формирующимся русским литературным языком нового типа. Последний считался общерусским, в отличие как от «простой мовы», так и от украинского и белорусского «наречий», трактовавшихся как испорченный польским языком вариант этого мнимого общерусского языка. Новые литературные языки украинцев и белорусов были созданы без умышленной опоры на «простомовные» традиции. К их появлению привело осознание того факта, что живую речь украинцев и белорусов нельзя рассматривать как диалекты «общерусского» языка, поскольку это есть самостоятельные языковые системы с объективной точки зрения.

#### Литература

- Альтбауер 1992 — The Five Biblical Scrolls in a Sixteenth-Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnius Codex 262), with Introduction and Notes by Moshé ALTBAUER. Jerusalem 1992.
- Аниченко 1969 — В. В. Аниченко, Белорусско-украинские письменно-языковые связи. Автореферат на соискание ученой степени доктора филол. наук, Минск 1969.
- Атлас 1985 — dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Tafeln und Texte. Mit Mundart-Karten. München 1985.
- Беларуская мова 1994 — Беларуская мова. Энцыклапедыя, рэд.: А. Я. Міхневіч. Мінск 1994.
- Болек 1983 — A. BOLEK, Rozwój poglądów na tak zwaną «mowę prostą» w XVI i XVII wieku: Prace językoznawcze, zeszyt 74 (Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCXXXIII), 1983, 27–33.
- Булаховский 1956 — Л. А. Булаховський, Питання походження української мови. Київ 1956.

---

намного более сильное влияние. К тому же, «язычие» воспринималось в Галиции прежде всего как консервативная альтернатива новому литературному языку на народной основе, между тем как «простая мова» считалась новаторством по отношению к церковнославянскому языку.

- Вальчак 1999 — *B. WALCZAK*, Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław 21999.
- Векслер 1977 — *P. WEXLER*, A Historical Phonology of the Belorussian Language. Heidelberg 1977 (Historical Phonology of the Slavic Languages, ed.: G. Y. Shevelov, III: Belorussian).
- Витковский 1964 — *W. WITKOWSKI*, Fonetyka leksykonu Pamvy Beryndy. Kraków 1964 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, LXX).
- Витковский 1969 — *W. WITKOWSKI*, Język utworów Joannicjusza Galatowskiego na tle języka ukraińskiego XVII wieku. Kraków 1969 (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCXI, Prace językoznawcze, zeszyt 25).
- Владимиров 1889 — Предисловие Василия Тяпинского к печатному Евангелию, изданному в западной России, около 1570 года: Киевская старина 24, 1889, приложение: I–II, 1–9.
- Вишенский 1955 — *Иван Вишенский*, Сочинения, изд.: И. П. Еремин, Москва–Ленинград 223–271.
- Возняк 1920 — *М. Возняк*, Історія української літератури, т. 1, до кінця XVI віку, Львів 1920.
- Возняк 1921 — *М. Возняк*, Історія української літератури, т. II: Віки XVI–XVIII: Перша частина, Львів 1921.
- Возняк 1922 — *М. Возняк*, Українське письменство, Вибір текстів з історично-літературним оглядом, поясненнями та слівничком (з 68 ілюстраціями), Львів 1922.
- Гардзанити 1999 — *М. Гардзанити*, *Учительное евангелие* Мелетия Смотрицкого в контексте церковно-славянской гомилетики и проблема перевода евангельских чтений: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia Ucraina e Russia XVI–XVIII secolo, a cura di G. Brogi Bercoff – M. Di Slavo – L. Marinelli, red.: M. Piacentini, Alessandria 1999, 167–186.
- Голубев 1890 — *С. Т. Голубев*, Южнорусский православный катехизис 1600 года: Чтения в Историческом Обществе Нестора летописца, Киев 1890, кн. 4, Приложения, 1–81.
- Гольдблат 1991 — *H. GOLDBLATT*, On the Language Beliefs of Ivan Vyšens'kyj and the Counter-Reformation: Harvard Ukrainian Studies 15, 1–2, 7–34.
- Горбач 1974 — *O. HORBATSCH* (Hrsg.), *M. Smotryc'kyj, Hrammatiki slavenskija pravil'noe syn-tagma, Jevje 1619. Kirchenslavische Grammatik* (Erstausgabe), Frankfurt am Main 1974 (Specimina philologiae slavicae, Bd. 4).
- Горбач 1980 — *O. HORBATSCH*, Die polnische Grammatiklehre und Lexikographie des 16. Jahrhunderts und ihr Einfluß auf die Grammatiken und Wörterbücher bei den Ukrainern, in: Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge und Diskussionen der Tagung zum ehrenden Gedanken an Alexander Brückner, Bonn, Bd. 1, hrsg. v. R. Olesch und H. Rothe, Gießen 1980 (Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen 14/1), 63–76.
- Горбач 1990 — *О. Горбач*, Три українські православні катихизми 17-го віку (послесловие): Три українські катихизми з 17. ст. Facsimile O. Horbatsch curavit, Рим 1990, 1–10.
- Грамматики 2000 — Грамматки Л. Зизания и М. Смотрицкого, сост.: Е. А. Кузьминова, Москва 2000.
- Грицкевич 1988 — *А. П. Грыцкевіч*, Белая Русь: Скорина 1988, 263.
- Грушевский 1996 — *М. Грушевський*, Історія української літератури, в 6 томах, т. IV: Літературний і культурно-національний рух першої половини XVII в., кн. 1, Київ 1996.
- Делл'Агата 1984 — *G. DELL'AGATA*, The Bulgarian Language Question from the Sixteenth to the Nineteenth Century, in: R. Picchio and H. Goldblatt (ed.), Aspects of the Slavic Language Question, I: Church Slavonic – South Slavic – West Slavic. New Haven 1984, 157–188.
- Дискуссия 2001 — Дискуссия (А. Котлярчук – В. Мякишев): Studia Russica 19 (2001) 497–503.
- Дубровина и Гнатенко 2001 — *Л. А. Дубровина, Л. А. Гнатенко*, Археографічний та ко-

- дикологічний опис Пересопницького Євангелія, в: Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. Дослідження. Транслітерованій текст. Словопоказчик, Київ 2001, 74–104.
- Еремин 1955 — *И. П. Еремин*, Иван Вишенский и его общественно-литературная деятельность, в: Иван Вишенский, Сочинения, изд.: И. П. Еремин, Москва–Ленинград 223–271.
- Живов 1996 — *В. М. Живов*, Язык и культура в России XVIII века, Москва 1996.
- Житецкий 1905 — *П. Житецкий*, О переводах евангелия на малорусский язык: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии Наук, т. X, кн. 4, 1905, 1–65.
- Журавский 1967 — *А. И. Жураўскі*, Гісторыя беларускай літаратурнай мовы, т. V, Мінск 1967.
- Журавский 1988 — *А. И. Жураўскі*, Глоса: Скорина 1988, 308.
- Журавский 1994 — *А. И. Жураўскі*, «Пакуты Хрыста»: Беларуская мова 1994, 401–403.
- Иванова 1971 — *А. Иванова*, Троянски Дамаскин. София 1971.
- Исаевич 1966 — *Я. Исаевич*, Братства та їх роль в розвитку української культури XVI–XVIII ст. Київ 1966.
- Исаевич 1996 — *Я. Исаевич*, Освітній рух в Україні XVII ст.: східна традиція і західні впливи, в: Україна XVII ст. між заходом та сходом Європи. Матеріали 1-го українсько-італійського симпозиуму 13–16 вересня 1994 р. Київ–Венеція, 114–132.
- Кайперт 2001 — *Н. KEIPERT*, «Розмова/Бесѣда»: Das Gesprächsbuch Slav Nr. 7 der Bibliothèque nationale de France: Zeitschrift für slavische Philologie 60 (2001/1) 9–40.
- Карский 1896 — *Е. Ф. Карский*, Западнорусские переводы псалтыри в XV–XVII веках. Варшава 1896.
- Карский 1899 — *Е. Ф. Карский*, Западнорусский сборник XV века (Императорской Публичной библиотеки в С.-Петербурге. Э. И. Нр. 391): Сборник Отделения русского языка и словесности Имп. академии наук 65 (Санкт-Петербург 1899) 1–73.
- Карский 1904 — *Е. Ф. Карский*, Белоруссы. Введение к изучению языка и народной словесности, кн. 1, Вильна 1904.
- Клеменевич 1985 — *Z. KLEMENSIEWICZ*, Historia języka polskiego, t. II, Warszawa 1985.
- Курс 1958 — Курс історії української літературної мови, т. 1: Дожовтневий період, ред.: І. К. Білодід, Київ 1958.
- Мороз 1994 — *В. К. Мароз*, Летаписы: Беларуская мова 1994, 305–306.
- Мартель 1938 — *А. MARTEL*, La langue polonaise dans les pays ruthènes, Ukraine et Russie Blanche, Lille 1938.
- Мозер 1995 — *М. MOSER*, Anmerkungen zur *prosta mova*: Slavia 19, 1995/1–2 (Slavica in honorem Slavomiri Wollman septuagenarii), 117–123.
- Мозер 1998 — *М. MOSER*, Ostukrainische Urkunden- und Geschäftssprache im 18. Jahrhundert: Zeitschrift für slavische Philologie 57 (1998) 379–407.
- Мозер 2000 — *М. MOSER*, »Prostoj jazyk« und »prostorečie« in Rußland – Versuch einer Begriffsgeschichte: Zeitschrift für slavische Philologie 59 (2000) 267–304.
- Мозер 2002 — *М. MOSER*, Zur Polszczyzna kresowa in Weißrussland und der Ukraine und ihrer sprachlichen Charakteristik: Welt der Slaven 47 (2002) 31–56.
- Мыцько 1990 — *І. З. Мицько*, Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576–1636), Київ 1990.
- Мякишев 2000 — *W. MIAKISZEW*, Мовы Великого княжества Литовского в единстве своих противоположностей: Studia Russica 18 (Budapest 2000) 165–172.
- Назаревский 1911 — *А. А. Назаревский*, Новый Завет В. Негалевого в ряду других переводов XVI-го века, его отношение к польскому переводу М. Чевовича и харак-

- тер перевода: Университетские Известия (Киев), 1911, кн. 8, 1–40; кн. 11, 41–78; кн. 12, 79–139.
- Нестерович 1994 — *В. И. Няцерович*, Кітабы: Беларуская мова 1994, 261–262.
- Нимчук 1961 — *В. В. Нимчук*, Лексикон словенороський Памви Беринди, Київ 1961 (Пам'ятки української мови XVII ст.).
- Огиенко 1930 — *І. Огієнко*, Українська літературна мова XVI-го ст. і український Крехівський Апостол, т. 1–2, Варшава 1930.
- Огиенко 1995 — *І. Огієнко*, Історія української літературної мови, Київ (впервые напечатано: Winnipeg 1949).
- Перетц 1926 — *В. Н. Перетц*, Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы, Ленинград 1926 (Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук СССР 101, № 2), 1–176.
- Перетц 1958 — *В. Н. Перетц*, Киево-печерский патерик в польском и украинском переводе: Славянская филология. Сборник статей (VI Международный съезд славистов), подг.: *В. И. Борковский*, Москва 1958, 174–210.
- Петканова-Тотева 1965 — *Д. Петканова-Тотева*, Дамаскините в Българската литература. София 1965.
- ПСРЛ 1975 — Полное собрание русских летописей, т. 32: Хроники: Литовская и Жмойтская, и Быховца — Летописи: Баркулабовская, Аверки и Панцырного), Москва 1975.
- Пью 1996 — *S. PUGH*, Testament to Ruthenian. A Linguistic Analysis of the Smotryc'kyj Variant, Cambridge, Massachusetts 1996 (Harvard Series in Ukrainian Studies).
- Ребок 2000 — *Н. РЕНВОСК*, Prototyp: Metzler Lexikon Sprache, hrsg. v. *H. Gluck*, Stuttgart–Weimar 2000, 556–557.
- Свяжинский 1994 — *У. М. Свяжынскі*, «Жыцце Аляксея, чалавека Божага»: Беларуская мова 1994, 206–208.
- Свяжинский 1994а — *У. М. Свяжынскі*, «Гістарычныя запіскі» Ф. М. Еўлашоўскага: Беларуская мова 1994, 138–139.
- Свяжинский 1994б — *У. М. Свяжынскі*, «Дыярыуш» А. Філіповіча: Беларуская мова 1994, 194–196.
- Скорина 1988 — Францыск Скарына і яго час. Энцыклапедычны даведнік, гал. рэд.: *В. П. Шамякін*, Мінск 1988.
- Соболенко 1988 — *Э. Р. Сабаленка*, Беларусы: Скорина 1988, 260–261.
- Срезневский 1893–1903 — *И. И. Срезневский*, Материалы для словаря древнерусского языка, 3 тт. Санкт-Петербург 1893–1903.
- Станг 1935 — *C. STANG*, Die westrussische Kanzleisprache des Großfürstentums Litauen. Oslo 1935.
- Станг 1939 — *C. STANG*, Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo 1939.
- Статут 1960 — Статут Великого Княжества Литовского 1529 года, ред.: *К. И. Яблонский*, Минск 1960.
- Струминский 1984 — *В. STRUMIŃSKI*, The Language Question in the Ukrainian Lands before the Nineteenth Century: *H. Goldblatt—R. Picchio* (Hrsg.), Aspects of the Slavic Language Question, Vol. II: East Slavic. New Haven 1984, 9–47.
- Струминский 1984а — *В. А. STRUMINSKY*, Pseudo-Meleško. A Ukrainian Apocryphal Parliamentary Speech of 1615–1618, Harvard 1984.
- Титов 1924 — *Х. Титов*, Матеріяли для книжної справи на Україні в XVI–XVII вв., Всезбірка передмов до українських стародруків. Київ 1924.
- Толстой 1988 — *Н. И. Толстой*, Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка позднего периода (вторая половина XVI — XVII в.): *там же*, История и структура славянских литературных языков, Москва 1988, 52–87.

- Українська мова 2000 — Українська мова. Енциклопедія, гол. ред.: О. С. Мельничук, Київ 2000.
- Успенский 1987 — *Б. А. Успенский*, История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München 1987 (Sagners Slavistische Sammlung, Bd. 12).
- Ужевич 1970 — Граматика слов'янська І. Ужевича, підг. до друку V. К. Білодід и Є. М. Кудрицький, Київ 1970.
- Фаловский 2001 — *A. FALOWSKI*, Rola jezuitów wileńskich w rozwoju szkolnictwa, języka i piśmiennictwa zachodnioruskiego w XVI w.: Krakowsko-wileńskie Studia slawistyczne 3 (2001) 193–214.
- Флоровский 1940–1946 — *А. В. Флоровский*, Чешская библия [...]: Sbornik filologický XII (1940–1946) 239–240.
- Фрик 1985 — *D. A. FRICK*, Meletij Smotryč'kyj and the Ruthenian Language Question: Harvard Ukrainian Studies 9 (1985) 25–52.
- Фрик 1988 — *D. A. FRICK*, Petro Mohyla's Revised Version of Meletij Smotryč'kyj's Ruthenian Homiliary Gospel: American Contributions to the tenth International Congress of Slavists, Sofia, September 1988, Linguistics, ed. by A. M. Schenker, Columbus 1988, 107–120.
- Фрик 1994 — *D. A. FRICK*, "Foolish Rus'": On Polish Civilization, Ruthenian Self-Hatred, and Kasijan Sakovyč: Harvard Ukrainian Studies 18 (1994/3–4) 210–248.
- Хрестоматія 1952 — *А. И. Білецький*, Хрестоматія давньої української літератури. Київ 1952.
- Хрестоматія 1961 — Хрестоматія па гісторыі беларускай мовы, ч. 1, рэд.: Р. В. Аванесаў, Мінск 1961.
- Цейтлин и др. 1994 — Старославянский словарь (по рукописям X–XI вв.), ред.: Р. М. Цейтлин, Р. Вечерка, Э. Благова, Москва 1994.
- Целунова 1997–1998 — *Е. А. Целунова*, Культурная и языковая ситуация Великого Княжества Литовского: AION Slavistica (Annali dell'Istituto universitario Orientale di Napoli: Dipartimento di studi dell'Europa orientale. Sezione Slavistica) 5, 1997–1998, 33–109.
- Чепига 2001 — *І. П. Чепіга*, Пересопницьке Євангеліє — унікальна пам'ятка української мови: Пересопницьке Євангеліє 1556–1561. Дослідження. Транслітерований текст. Словопоказчик, Київ 2001, 13–54.
- Шевелев 1979 — *G. Y. SHEVELOV*, A Historical Phonology of the Ukrainian Language. Heidelberg 1979 (= Historical Phonology of the Slavonic Languages, ed.: G. Y. Shevelov, vol. IV).
- Шевелев 1988–1989 — *G. Y. SHEVELOV*, Prosta čadъ and Prostaja mova: Harvard Ukrainian Studies XII–XIII, 1988–1989: Proceedings of the International Congress Commemorating the Millennium of Christianity in Rus'–Ukraine, 593–624.
- Эггерс 1969 — *H. EGGERS*, Deutsche Sprachgeschichte III: Das Frühneuhochdeutsche. München 1969 (rowohlts deutsche enzyklopädie 270/271).